

ЭМИЛЬ АЖАР
РОМЕН ГАРИ

Голубчик

EMILE AJAR
ROMAIN GARY

Gros Câlin

Эмиль Ажар
Голубчик

Emile Ajar
Gros Câlin

The book may not be copied in whole or in part.
Commercial use of the book is strictly prohibited.
The book should be removed from server immediately upon © request.

©Mercure de France, 1974
©Издательство Симпозиум, 2000
©Н. Мавлевич, перевод с французского, 1995
©«Im Werden Verlag», 2003
<http://www.imwerden.de>
info@imwerden.de

OCR, SpellCheck & Design by Anatoly Eydelzon books@tumana.net
Generated by L^AT_EX 2_ε

... Совет Национальной ассоциации врачей вновь высказывается против легализации искусственного прерывания беременности и считает, что, если подобный закон все же будет принят, исполнение соответствующих «функций» должно производиться «специальными кадрами» и в «специально отведенных заведениях – АБОРТАРИЯХ».

Из газет от 8 апреля 1973 г.

Начну без проволочек, сразу – к делу. Специалист по удавам из зоопарка так мне и сказал:

– С полной ответственностью советую вам, Кузен, дерзайте! Изложите на бумаге все без утайки – нет ничего драгоценнее личного опыта и непосредственных наблюдений. А главное, никакой беллетристики, тема сама за себя говорит.

Следует также напомнить, что значительная часть Африки франкоязычна и именно из этой части, согласно авторитетным данным, происходят удавы интересующей нас породы, то есть питоны. В связи с этим прошу извинить меня за некоторые обмолвки и перекосы, петли и загибы, метания с пятого на тридесятое, прорехи, огрехи, аномалии, неологизмы, а также стихийные мутации и миграции в стиле, лексике и грамматике. Меня воодушевляет некая Надежда, я ищу отдушину для крика души и потому не могу удовольствоваться расхожими, избитыми словами и оборотами, которые ходят, да не находят, бьются, да не добиваются. Проблема удавов, особенно в условиях Большого Парижа, требует пересмотра привычных представлений, и я хотел бы найти для моего труда не такой разболтанный и затрепанный язык, как языки средних обывателей. Но та же надежда не велит мне окончательно отметить словарный запас, как бы он себя ни скомпрометировал.

Я высказал эти соображения сотруднику зоопарка, и он поддержал меня:

– Совершенно верно. Именно поэтому я считаю, что, во-первых, ваш труд об удавах, подкрепленный практическим опытом, будет чрезвычайно поучителен, а во-вторых, вы непременно должны упомянуть в нем Жана Мулена и Пьера Броссоleta*, поскольку они не имеют ровно никакого отношения к зоологии. Тем больше оснований привлечь их: для разнообразия, для удобства, как вехи, как рычаги. Словом, взял быка за рога – не говори, что кишка тонка!

Я ничего не понял и восхитился. Непонятное всегда приводит меня в восхищение: как знать, не таится ли в нем что-нибудь полезное. Подход чисто рациональный.

Стало быть, приступаю к делу Дрейфуса – говорю это для солидности и в порядке расширения кругозора франкоязычной аудитории. Однако же это имеет и прямое отношение к делу, к которому я приступаю, ибо в силу нелепого предрассудка удавов тоже не любят.

Начнем с естества, с того пункта, в котором природа особо неумолима, то есть с режима питания, Как видите, я не замалчиваю самого неприятного: да, удавы пожирают добычу не просто свежей, а живой, и только живой. Ничего не поделаешь.

Голубчика я привез из туристической доездки по Африке – об этом позже – и первым делом поспешал в Музей естественной истории. Полюбил я этого змея с первого взгляда: увидел на руках у негра перед нашей гостиницей и сразу ощутил прилив нежности, а потом как бы даже ответный ток. Однако о предписанном ему, помимо его и моей воли, образе жизни я тогда ничего еще не знал. Но считал своим долгом обеспечить необходимые условия. Ветеринар с характерным южным акцентом сказал мне:

– В неволе они питаются исключительно живой пищей. Подойдут мышки, морские свинки, а изредка неплохо бы подкинуть и кролика.

И добавил с добродушной улыбкой:

– Они их, знаете ли, глотают, глотают живьем. Мышь застынет перед питоном, а он разинет пасть и... – интереснейшее зрелище. Вот увидите.

Я похолодел. Вот так по возвращении в Большой Париж я столкнулся с проблемой естества, с которой, разумеется, больно сталкивался и раньше, но которой никогда не придавал серьезного значения. Первый шаг я осилил: купил белую мышь; но не успел вынуть ее дома

*Жан Мулен (1899-1943) и Пьер Броссолет (1902 – 1944) – герои французского Сопrotивления. (Здесь и далее – прим. перев.)

из коробки, как она преобразилась. Пощекотала мне ладонь усиками – и моментально стала личностью. Я живу один, а тут вдруг она... Блондина – так я назвал мышку, это как раз по ее личности. Короче говоря, пока я глядел на малютку в ладошке, она быстренько перешагнула порог сердца и расположилась там по-хозяйски – заняла всю жилплощадь. У нее были прозрачные розовые ушки и свеженькая мордочка – на одинокого мужчину такие вещи действуют безотказно, постольку поскольку в них проглядывают женственность и ласка. А ведь известно: то, чего нам не хватает, разрастается в наших глазах и вытесняет все остальное. Я выбирал мышку побелее и получше, чтобы скормить Голубчику, но у меня не хватало мужества. Скажу не хвастаясь: я слаб. Да тут и нет моей заслуги – это врожденное. Порой такая одолеет слабость, что думаю: не может быть, наверно, вышло недоразумение, но что под этим разумею, не знаю, право, сам – пусть разбирается читатель, а мне слабо.

Блондина вплотную занялась моей персоной: вскарабкалась на плечо, потыкалась в шею, пощекотала усиками в ухе, и эти милые пустяки сразу нас сблизили.

Но удав-то, удав мог сдохнуть с голоду. Я купил морскую свинку – говорят, они родом из Индии, а там как-никак перенаселение, – однако и этот зверек ухитрился быстренько влезть мне в душу. Просто поразительно, до чего неприкаянными чувствуют себя животные в парижской двухкомнатной квартире и как нуждаются в любимом существе. Я не мог бросить их в пасть голодного удава только потому, что таковы законы природы.

И не знал, что делать, Голубчик нуждался в пище хотя бы раз в неделю и доверил эту заботу мне. Прошло уже двадцать дней, как я взял его под свою опеку, и он выказывал мне нежнейшую привязанность, обвивая меня от пояса и до плеч, раскачивая перед моим лицом свою прелестную зеленую головку и неотрывно глядя мне в глаза, будто в жизни ничего подобного не видел. Истрадавшись вконец, я решил посоветоваться с отцом Жозефом, священником нашего прихода из церкви на улице Ванв.

Я всегда обращался за советом к нашему кюре. И его это очень трогало, он понимал: я жду помощи от него, отца Жозефа, а не от Господа Бога. Священники к таким вещам весьма чувствительны. И я их понимаю: будь я кюре, мне тоже было бы обидно, что меня привечают не ради меня самого. Чувство, знакомое мужьям, которых наперебой зовут в гости ради красавицы жены.

Наши доверительные встречи с отцом Жозефом происходили в «Рамзесе», табачной лавке на углу.

Однажды я случайно услышал слова моего начальника: «У него душа пустует» – и две недели не мог прийти в себя. Может, он говорил не обо мне, но, судя по тому, как уязвило меня это замечание, оно в меня и метило, вот почему никогда не следует злословить об отсутствующих. Отсутствовать целиком и полностью невозможно – человеку все равно будет больно, и с этим надо считаться. Это я так, между прочим, просто некоторые выражения, вроде «убивать время», меня угнетают. «Душа пустует» – тоже мне. . . Я не стал пускаться в объяснения, а достал фотографию Голубчика, которую всегда ношу в бумажнике вместе с паспортом, страховкой и справками на все случаи жизни, и показал начальнику – мол, вот кто живет в моей душе, ничего она не пустует!

– Знаю-знаю, – сказал он, – наслышан. Но позвольте спросить, Кузен, почему вы завели удава, а не какое-нибудь другое, более привязчивое животное?

– Удавы страшно привязчивы. Это у них в крови. Могут так привязаться, что и не развяжешь, – двойным узлом.

– Только поэтому?

Я убрал фотографию в бумажник.

– Его никто не любил.

Начальник странно покосился на меня:

– Сколько вам лет, Кузен?

– Тридцать семь. Видно, впервые в нем проснулся интерес к удавам.

– И вы живете один?

Тут я насторожился. У нас поговаривают, будто всех служащих собираются регулярно тестировать на предмет выявления дефектов и сдвигов. В целях охраны среды. Может, это оно и есть?

Я похолодел. Поди знай, как расцениваются удавы в психологических тестах. Может, считаются дурным симптомом. Например, означают недовольство служебным положением. Мне представилась запись в личном деле: «Холост, живет с удавом».

– Я решил построить семью, – сказал я, имея в виду скорую женитьбу, но начальник отнес мои слова к удаву. Взгляд его становился все пристальнее. – Это только пока. А вообще я скоро женюсь.

Я сказал правду. Действительно, я собираюсь жениться. На мадемуазель Дрейфус. Она ходит в «мини» и работает на том же этаже, что и я.

– Поздравляю. Но не всякая жена уживется с удавом, – сказал начальник и вышел, не дав мне возможности возразить.

Я и без него знаю, что мало кто из современных женщин согласится жить бок о бок с удавом длиной в два метра двадцать сантиметров, который больше всего на свете любит обвивать человека с головы до ног. Но дело в том, что мадемуазель Дрейфус сама негритянка. И несомненно, гордится своим происхождением, корнями и природным окружением. Она из Французской Гвианы, о чем свидетельствует ее имя: тамошние уроженцы часто присваивают имя Дрейфус в память о местной знаменитости и для привлечения туристов. Невинно осуж-

денный капитан отрубил там почем зря пять лет, прежде чем его невиновность воссияла на весь мир. Я прочитал о Гвиане все, что только можно разыскать при большой любви, и узнал, что эту фамилию приняли пятьдесят две черные семьи из соображений патриотизма и расизма в армии в 1905 году. А так кто их заденет? Когда однажды некий Жан-Мари Дрейфус был осужден за кражу, это едва не повлекло за собой революцию: посягнули на национальную святыню! В общем, я завел африканского питона без всякого умысла, а не в оправдание и объяснение того, почему я живу один, почему у меня нет женщины и друзей среди себе подобных. Между прочим, начальник сам не женат, и у него нет даже удава. Собственно, предложения я еще не делал, и хотя дело только за удобным случаем, а он может представиться нам с мадемуазель Дрейфус в любой момент, правда и то, что удавы, как правило, внушают брезгливость, отвращение, ужас. Требуется – я сознаю это и не впадаю в отчаяние, – требуется, говорю я, некое избирательное сродство, общие культурные корни, чтобы молодая женщина согласилась терпеть столь весомое доказательство любви. Именно на это я и уповаю. Возможно, я выражаюсь несколько туманно, но в Большом Париже насчитывается десять миллионов жителей, не считая приезжих, так что, даже решившись обнародовать крик души, приходится соблюдать осторожность и о главном умалчивать. Кстати, Жан Мулен и Пьер Броссолет потому и были схвачены, что выдали себя, пойдя на контакт с посторонними.

Или вот еще из той же оперы: как-то раз в метро на станции «Ванвские ворота» я сел в пустой вагон, только один пассажир сидел в уголке. Я сразу увидел, что, кроме него, в вагоне никого нет, и, естественно, сел рядом. Мы сидели и молчали, томясь от неловкости. Вокруг полно свободных мест, а мы – бок о бок, щекотливая ситуация. Я чувствовал, что еще немного – и мы оба пересядем, но крепился, потому что понимал: вот оно, самое кошмарное. Я говорю «оно» для ясности. И тогда мой сосед, желая разрядить обстановку, поступил очень просто и мудро: вынул из бумажника пачку фотографий и стал показывать мне одну за другой, как будто знакомил друга с семейным альбомом.

– Вот эту корову я купил на прошлой неделе. Джерсейской породы. А эта свинья тянет триста кило. Как они вам?

– Просто загляденье, – ответил я растроганно и подумал обо всех, кто ищет и не находит друг друга. – Вы фермер?

– Нет, это я так, – ответил он. – Просто люблю природу.

К счастью, мне было пора выходить, а то мы уже так далеко зашли во взаимной откровенности, что дальнейшее продвижение было бы затруднительно по причине внутренних барьеров.

Уточняю для ясности: я вовсе не отступаю от темы – как пошел, так и иду в «Рамзес» советоваться с аббатом Жозефом, но в соответствии с предметом исследования следую удавье манере передвижения. Удавы ползают не по прямой, а петлями, бросками, извивами, спиралями, свиваясь и развиваясь, образуя кольца и узлы, стало быть, то же должен прилежно проделывать и я. Чтобы Голубчик чувствовал себя как дома.

Любопытное совпадение: когда я приступил к этим запискам, Голубчик, первый раз на моих глазах, приступил к линьке. Он вылез из кожи вон, но все равно остался самим собой, хотя и при роскошной новой шкуре. Ничего прекраснее этого преобразования мне не случалось видеть. Все время, пока он линял, я сидел рядом и курил трубку. А на стенке над нами висели себе Жан Мулен и Пьер Броссолет, о которых я сам, без понукания, уже вскользь упоминал.

Однако, как пишет в своей монографии доктор Трене, «питона надлежит не только любить, но и кормить». И вот я пошел посоветоваться с аббатом Жозефом по поводу живой пищи для моего питомца. Мы долго беседовали за бутылочкой пива в «Рамзесе». У меня-то с питанием нет проблем: пью вино и пиво, ем овощи и крупы и только иногда немножко мяса.

– Я не в состоянии кормить удава живыми мышами, – сказал я аббату, – Это негуманно. А он не в состоянии есть ничего другого. Вы когда-нибудь видели мышку, отданную на съедение удаву? Это ужасно. Природа дурно устроена, отец мой.

– Не вам судить, – строго одернул меня аббат Жозеф.

Конечно, не мог же он допустить критику в адрес своего Голубчика.

– Вообще говоря, месье Кузен, лучше бы вы побольше заботились о людях. Где это видано – душевно привязаться к рептилии?

Я не собирался ни корчить оригинала, ни пускаться в зоологическую дискуссию о сравнительных достоинствах людей и рептилий. Мне нужно было просто-напросто решить насущный вопрос о пропитании Голубчика.

– Этот удав любит меня, – сказал я. – А я живу хотя вполне пристойно, но одиноко. Теперь же я знаю: дома меня ждут, и вы не представляете, как много это для меня значит. Вы знаете, я занимаюсь статистикой, целый день оперирую миллиардами, но кончается рабочий день – и я резко сокращаюсь до единицы. А тут приходишь домой и видишь: у тебя на кровати свернулось клубком существо, которое целиком от тебя зависит, не может без тебя жить, для которого ты все.

Кюре поглядывал на меня исподлобья. Трубка в зубах придавала ему воинственный вид.

– Если бы, вместо того чтобы обниматься с удавом, вы возлюбили Господа, то не знали бы никаких хлопот. Хотя бы потому, что Он не пожирает крыс, мышей и морских свинок. Поверьте, это куда чистоплотнее.

– Бог тут ни при чем, отец мой. Я хочу иметь кого-нибудь, кто принадлежит только мне, а не всем и каждому.

– Так вот именно. . .

Но дальше я не слушал. Сидел себе тихо-скромно, шляпа, желтая «бабочка» в синий горошек, пальто и шарф, пиджак и брюки – все как положено и все ради приличия и конспирации. В таком мегаполисе, как Париж, насчитывающем не менее десяти миллионов жителей, следует выглядеть как положено и поступать среднестатистически, дабы не вызывать скопления народа. Но с моим Голубчиком я чувствую себя особенным, избранным, обласканным. Не знаю, как другие, не у всех же погибли отец с матерью. Когда удав обовьет тебя, крепко сожмет талию и плечи, положит голову на шею – закроешь глаза и млеешь от удовольствия, что тебя так любят и голубят. Конец всего, предел мечтаний! Лично мне всегда не хватало рук. Пара собственных рук ничего не дает. Сверх этого нужна еще пара. И право, эта нехватка не менее серьезна, чем нехватка витаминов.

Я пропускал разглагольствования отца Жозефа мимо ушей, а он, кажется, достиг кульминации. Выходило, что нехватки божества можно не опасаться. Его у нас, сдается, больше, чем у арабов нефти, – черпай горстями, не убудет. Впрочем, я не вникал, улыбался про себя и думал о мадемуазель Дрейфус. Вспоминал, как однажды утром зашел в бухгалтерию и услышал:

– А я вас видела в воскресенье на Елисейских полях.

Прямота, чтобы не сказать дерзость, такого признания потрясла меня. А для мадемуазель Дрейфус это особенно смело, постольку поскольку, как я уже с полным равноправным уважением говорил, она негритянка, а для черной нарушить вот так открыто установленные

дистанции – не шутка. Она очень красивая, в кожаных сапогах выше колена, но согласится ли она жить в обществе удава, – потому что о том, чтобы выставить Голубчика, не может быть и речи, – вот вопрос. Я решил действовать медленно и постепенно. Пусть девушка приглядится ко мне: какой я есть, какой у меня характер, как я привык жить. Поэтому я не сразу ответил на ее инициативу: надо сначала убедиться, что она действительно знает меня, понимает, с кем имеет дело.

Мадемуазель Дрейфус – это еще в будущем, а пока я посадил Блондину в коробку с дырками, чтобы не задохнулась, и спрятал в верхний ящик шкафа – там ее не достать. Продовольственный вопрос играет в жизни огромную роль, и требуется постоянная бдительность, чтобы не допустить predetermined самой природой жертв. Удавы хоть и толстокожи, но весьма чутки, у них исключительно развита интуиция, и не раз вечерами я заставал Голубчика посреди комнаты тянущимся длинной спиралью – выше и выше – к верхнему ящику. Не в силах достичь желаемого, он, как все смертные, довольствовался одним стремлением. А как он хорош, когда стоит вот так возле шкафа, вытянув голову: брюхо серо-зеленоватое с бежевым отливом, спина поблескивает, как сумочка аристократки, глубокие стекляннистые глаза прикованы к вожделенному месту. Смотрит, смотрит и чуть раскачивается, словно живая пружина, – завораживает, а головкой подергивает направо-налево – ждет. Так английский колонизатор-первопроходец в пробковом шлеме озирает из-под ладони пороги озера Виктория, лелея планы покорения новых земель, – когда я был маленький, я много читал про это.

Я показал ветеринару зоопарка темное пятнышко, каприз природы, которым Голубчик отмечен в левой нижней части живота, и тот в шутку сказал, что придало бы ему особую ценность, будь он почтовой маркой. Оказывается, такое пятно – большая редкость, а это всегда ценится. Марки с опечатками потому и дороги, что вероятность оплошности предельно мала, близка к нулю, постольку поскольку все выверено и отлажено во избежание ошибок, связанных с человеческим несовершенством. Если я употребляю выражения вроде «человеческое несовершенство» или «предел мечтаний», то с большой осторожностью, стараясь не возбуждать ложных надежд и не причинять болезненных разочарований. Здесь нет снобизма: я говорю о «человеческом несовершенстве» применительно к самому низкому демографическому уровню – так я о себе понимаю – и к таким простым вещам, как рождение и перерождение.

Впрочем, не стоит обольщаться, случайное пятнышко в левой нижней части живота еще ничего не значит. Ждать опечатки, которая придаст исключительность и неожиданную ценность обычной порции спермы, может только безумный филателист, это все равно что ждать пришельцев с летающих тарелок. Скорее налицо тотальное обесценивание священного права на жизнь мочеполовым путем.

Раза два я заставал Голубчика в той же пружинистой позе у стены, пристально глядящим на портреты Жана Мулена и Пьера Броссолета – то ли с безнадежным прицелом, то ли просто по привычке смотреть вверх.

И все же, признаюсь, как я себя ни урезонивал, появление пятнышка меня разволновало. Конечно, одна ласточка не делает весны, но за ней, как правило, появляется вторая. И как раз в это время один мой сослуживец, Браверман, человек, весьма и весьма прилично одетый, показал мне статью в американском журнале. Я не знаю английского, будучи по этнической и культурной принадлежности франкоязычником, чем и горжусь, учитывая вклад Франции в прошлое и настоящее человечества. Но Браверман перевел мне сообщение о том, что в саду одной домохозяйки из Техаса на земле (заметьте: прямо на земле, это важно по понятным причинам!) обнаружено большое *пятно* – курсив мой – органического происхождения, большое и *растущее* – курсив опять мой, – повторяю, дабы у читателей не возникло мысли о вмешательстве сверхъестественных или внеземных сил, – итак, обнаружено *большое пятно органического происхождения, интенсивно разрастающееся*.

Оно было коричневое – а у Голубчика темно-серое, однако терпение: в природе все протекает медленно, но верно, по ей одной известным законам, – и внутри представляло собой красноватую массу и росло прямо на глазах. Все попытки устранить его с почвы не увенчались успехом. Чтобы не прослыть лжепророком, даю точную ссылку: газета «Геральд трибюн»

от 31 мая 1973 года, она продается в Париже, постольку поскольку у нас мондиализация; сообщение агентства «Ассошиэйтед пресс», имя домохозяйки – миссис Мэри Харрис. Название поселка в Техасе, где имело место указанное явление, не привожу, чтобы не придавать ему узколокального значения. Так же холодно и трезво добавлю: я не сумасшедший, и мне отлично известно, что Иисус Христос не являлся первоначально в виде пятна, будь то на земле в саду или в левой нижней части живота, и что состояние трепетного ожидания сопровождается период скрытого и внутриутробного развития. И вообще, мною движет сугубо научное намерение дать демографическое описание жизни удава в условиях Парижа и связанные с ним проблемы. Это вещь посерьезнее, чем стихийная иммиграция.

В газете английским языком было сказано, что таинственное губчато-пористое пятно вопреки стараниям миссис Мэри Харрис не желало ни смыться, ни угомониться и что никто не знает, откуда взялся этот новый живой организм.

Вернее всего, Браверман, который терпеть меня не может, хотя из принципа скрывает это под видом предельно услужливого равнодушия, перевел мне статью с целью предельно унижить и оскорбить меня, сообщив о пришествии в мир еще одного губчато-пористого, красноватого внутри организма, не поддающегося определению. Если это так, то его ядовитая стрела прошла мимо цели. Этот неизвестный, ни на что не похожий организм, несомненно, являл собой опечатку, ошибку, вкравшуюся в слаженный механизм, посягательство на законы природы, и, поняв это, я только укрепился в Надежде, утвердился в стремлении. Чтобы там ни думал Браверман, это не просто бородавка, хотя и бородавки заслуживают внимания.

Никто не может сказать, что это такое, техасские ученые признали свое *полное неведение*. Значит, есть нечто, открывающее новые горизонты, и это нечто – *неведение*. Голубчик становился еще весомее в моих глазах: ему придавали вес возможности, которые открывало мое неведение; и я трепетал перед этими непостижимыми возможностями. Это и есть Надежда: тревога, трепет, предвосхищение запредельного, страх и испарина. Потому и боишься, что надеешься. Одно от другого неотделимо.

Дождавшись, пока Браверман уйдет, я кинулся в туалет и осмотрел себя с ног до головы. Большинству людей такое вот пятно внушило бы страх, люди вообще боятся всего нового, непривычного, неизвестного. Но меня-то, после всего, что я натерпелся, вы же понимаете, так просто не испугаешь. Не стану расписывать, каково держать в парижской квартире удава в два с лишним метра и одновременно укрывать Жана Мулена и Пьера Броссолета, но, поверьте, это чертовски трудно.

На другой день та же газета сообщила, что в техасском феномене нет ничего невероятного и что это просто-напросто прорастает гриб.

Однако я привел этот случай в доказательство того, что по натуре я оптимист и потому не считаю себя чем-то законченным, а неустанно жду и всегда готов к возможному чуду.

Возвращаясь к главной теме, во избежание недоразумений и в завершение этой петли, прибавлю, что озеро Виктория находится на территории нынешней Танзании.

Покончив с проблемой приема пищи, которая, как я незамедлительно расскажу, была разрешена с помощью религии, возвращаюсь к описанию моих привычек и образа жизни. Так вот, мне случается прибегать к услугам проституток – прошу заметить, я употребляю это слово в самом высоком смысле, с полным уважением и благодарностью за внимание к моей персоне и за пару рук, которых мне так не хватает. Обнимет, например, меня Марлиз, заглянет в глаза и скажет:

– Ах ты мой малышонок. . .

Мне приятно. Приятно, когда меня называют «мышонком». . . то есть «малышонком». Я лучше чувствую себя.

– Ты так смотришь. . . – говорит она. – Не то что другие. . . Только не туда. Давай-ка я тебе помою зад.

Вот вопрос весьма интимного и деликатного свойства, который я вынужден затронуть по ходу своего исследования. Говорят, раньше такого не было. У хозяйки табачной лавки на улице Виаль имеется на этот счет свое объяснение.

– Видите ли, тут дело в розочке, – говорит она. – Эта штука по форме и по цвету похожа на розовый бутон, вот и придумали так поэтично: розочка. В мое время до этих штук мало кто был охоч, но уровень жизни поднялся, изобилие, кредит и все такое прочее. Больше благ на душу, все доступно. Короче, виноват уровень. Все совершенствуется, в том числе гигиена. Что было роскошью для избранных, стало в порядке вещей и общедоступно. Народ стал грамотный. С другой стороны, все упрощается, все в темпе и по-деловому. В мое время девушка тактично намекала: «Тебя помыть или ты сам?», делалось это над раковиной, стоя; она намыливала клиенту член и одновременно взбадривала его. А чтобы мыть принудительно – такого не водилось, разве что в виде особой услуги. Теперь же гигиена прежде всего, как же – все грамотные, на все есть законы. Вас в обязательном порядке усаживают на биде и мылят зад, а все потому, что поднялся уровень жизни и блага доступны всем. Можете проверить: это началось лет пятнадцать-двадцать назад, когда наступило изобилие и всеобщее распределение. Раньше шлюха не намыливала зад всем подряд. Только в особых случаях, для любителей, кто разбирается. А нынче все во всем разбираются, каждому подавай высший класс – реклама постаралась. Реклама – двигатель торговли. И что прежде считалось роскошью, вроде этих розочек, стало первой необходимостью. Девушки знают: клиент запросит розочку, он в своем праве и в курсе прейскуранта.

Может, оно и так, но я все равно не могу привыкнуть – тут у меня свои проблемы. Я не требую, чтоб со мной обходились не как со всеми, наоборот, но, когда Клер, Ифигения или Лоретта сажают меня на биде и намыливают мне зад, я чувствую себя страшно ущемленным, обесцененным, обезличенным, ведь я пришел не затем, а потому что мне не хватает женского тепла. И вот у меня все чаще возникает искушение устранить удава и обзавестись подругой, чтобы это тепло было неподдельным и постоянным. Но чем дальше, тем труднее решиться: мой комплекс обостряется, единственное же спасение – знать, что я нужен моему Голубчику. Он чуткий и чуть что наматывается на меня во всю длину и во всю мощь, а мне мало его двух метров и двадцати сантиметров, хочется еще и еще. Так всегда: нежность, она вас пронзает, оттесняет все прочее, но не насыщает, в том-то и закавыка.

Иногда Голубчик свивается в такие узлы, что не может развязаться, так что, имея в виду колумбово яйцо и гордиев узел, можно подумать, будто он задумал самоубийство. Это легко пояснить на примере обыкновенного ботинка, эффект тот же: тянешь, тянешь за шнурок и только сильнее затягиваешь узел. Жизнь полна примеров – широкий выбор. Например, простейшая деликатность мешает мне, молодецки поигрывая плечами и расправляя рубаху за

поясом, подступить к мадемуазель Дрейфус да и предложить ей прямо в лоб выйти вместе из лифта, то есть мешает схватиться эдак по-мужски за шнурки и потянуть на свой страх и риск, а там неизвестно, что будет и не получится ли только дополнительный узел. Нет, деликатность, простейшая деликатность мешает мне объясниться с мадемуазель Дрейфус открытым текстом, вдруг она будет задета в сознании равноправия, подумает, что я расист и пристаю к ней, потому что она черная и «нечего нос воротить», пользуясь нашим общим неказистым положением и происхождением.

Конечно, можно так потянуть за шнурок, что все узлы р-раз – и развяжутся, как в мае шестьдесят восьмого*, но лично я в мае шестьдесят восьмого от страха безвылазно сидел дома, даже на работу не ходил, а ну как выйдешь, а тебя схватят и разорвут на кусочки, как показывают фокусники, – эффектный номер! – только у фокусников после номера шнурок опять оказывается целым и невредимым.

Если вдруг какое-нибудь тестирование, на предмет продвижения по службе, эффективного использования рабсилы и т. п., в последний раз терпеливо повторяю: я ни в коей мере не отклоняюсь от главной линии своего исследования, постольку поскольку как начал, так и продолжаю обсуждать с отцом Жозефом проблему «яств земных»** для Голубчика.

Удовлетворение естества в самом деле вещь чрезвычайно благотворная и успокоительная. Однажды я намеренно провел такой опыт. Сам себя обнял и сжал. Обхватил себя руками и крепко стиснул, чтобы проверить, каков эмоциональный эффект. Напрягся что есть силы, аж зажмурился. Получилось недурно, но с Голубчиком не сравнить. Если вы испытываете настоящую потребность в крепком объятии для заполнения грудной, брюшной и прочих внутренних полостей путем их сжатия и острую нехватку пары рук, питон в два метра двадцать сантиметров – идеальное средство. Голубчик может держать меня часами, только оторвет иной раз свою голову от ямочки на ключице, отведет в сторону, заглянет мне в лицо и смотрит, смотрит прямо в глаза, широко разинув пасть. В нем говорит природа. Так что из всех насущных нужд потребность в пище – самая первейшая. И задачей данного зоологического исследования является выработка разумных рекомендаций по некоторым вопросам такого рода.

* Имеется в виду движение молодежи в Париже в мае 1968 г.

** «Яства земные» – название книги Андре Жида.

Это было утром, когда Голубчики больше обычного томятся безысходным избытком любви и нежности. Я встал посреди комнаты и плотно обхватил себя руками. Вдруг сзади что-то загремело. Это явилась мадам Бельмесс с ведром и тряпкой – у нее свой ключ. Мадам Бельмесс – в просторечье Нибельмесс – наша консьержка, она же приходит делать уборку. Вошла и оторопела, уставившись на меня. Из уважения к ее привычкам, непривычкам, а также неведению я тотчас расцепил руки.

– Обалдеть! – сказала она как истая француженка. – Ну, прямо умрешь!

– В чем дело?

– Это сколько ж вы так стоите посреди комнаты в пижаме в обнимку сам с собой?

Я пожал плечами. Разве объяснишь ей, что я эмоционально заряжаюсь перед дневным погружением в среду? Многие и слыхом не слыхивали об эмоциях и никаких от этого неудобств не испытывают.

– Сколько надо, столько и стою. Занимаюсь йогой.

– Йо?..

– ...гой! Занимаюсь йогой. А это называется самообхват.

– Само... что?

– Самообхват. Я не сам придумал, можете проверить по словарю. Упражнение для приобщения к кому-либо или чему-либо. Проще говоря, эмоциональная зарядка. Самообхват.

– Чего-чего?

– Последняя позиция в йоге, ее принимают, когда все остальные уже приняты. Да вон про это и плакаты везде развешаны: «Первая помощь проживающим в Большом Париже». Спросите любого спасателя. Это что-то вроде искусственного дыхания.

– И зачем оно?

– Помогает усвоению жизни.

– А-а...

– Да, такая, понимаете, подпитка.

Приходится перед ней распинаться, щадить ее нервы – из-за Голубчика. Не каждый согласится убирать квартиру, где на свободе проживает удав. Удавы считаются чем-то предосудительным. А кому нравится отвечать за чужие грехи?

Перед мадам Нибельмесс у меня была прислуга-португалка – в Испании уровень жизни подскочил, а в Португалии еще не успел. Когда она должна была прийти в первый раз, я нарочно остался дома, чтобы она не испугалась и привыкла к Голубчику. И вот она приходит, а Голубчик, как назло, куда-то пропал. Он вообще обожает забираться в самые неподходящие места. Я все обыскал – нету. Меня заколотило: тревога, паника, думаю, не иначе что-то стряслось. Но беспокойство оказалось недолгим. У меня около стола стоит корзинка для любовных писем. Написал и сразу туда. И вот, пока я искал удава под кроватью, португалка как заорет благим матом. Оборачиваюсь: вот он, мой Голубчик, в корзинке для бумаг, вытянулся во весь рост и, мило покачиваясь, смотрит на бедную женщину.

Вы представить себе не можете, что тут началось. Португалка задрожала всем телом и рухнула на пол как подкошенная, а когда я брызнул на нее минеральной водой, стала корчиться, вопить и закатывать глаза; я уж подумал, сейчас умрет, а я так ничего и не успею объяснить. Но она пришла в себя и побежала прямехонько в полицию, где заявила, что я садист и эксгибиционист. Пришлось два часа проторчать в участке. Португалка по-французски двух слов связать не могла – стихийная эмиграция – дело такое, – знай только кричит: «Месье – садиста, месье – эксгибициониста!» – а когда я стал объяснять полицейским, что я всего-навсего показал ей своего Голубчика и вообще затем ее и позвал, чтобы она к

нему привыкла, они так и грохнули – хи-ха! да ха-ха! – галльский дух – дело такое, так что я уж и слова не мог вставить. На их гогот вышел комиссар, решивший, что начался, как пишут в газетах, разгул полицейского насилия. Иностранная рабсила выкрикивала свое «садиста, эксгибициониста», а я принялся втолковывать теперь комиссару, как было дело: я пригласил эту особу, чтобы приучить ее к виду моего Голубчика, а он вдруг возьми и совершенно непредумышленно с моей стороны поднимись, а поскольку он длиной в два с лишним метра, она испугалась. И что же? Комиссар тоже давай давиться от смеха и прыскать, а полицейские, те и вовсе скорчились.

Я обозлился:

– Не верите, так я могу хоть сейчас вам его продемонстрировать.

Комиссар сразу посерьезнел и довел до моего сведения, что подобная выходка может мне дорого обойтись. Это оскорбление нравственности ее блюстителей при исполнении ими служебных обязанностей. Блюстители тоже перестали смеяться и уставились на меня. Среди них был даже один негр – как раз он-то не смеялся. Мне всегда странно видеть негра во франкоязычной форме – из-за мадемуазель Дрейфус, моей мечты, с ее мягким говором колониальных островов. Но я не дрогнул, достал из бумажника стопку, как говорят мои сослуживцы, «семейных фотографий» и вытащил первую попавшуюся: Голубчик расположился у меня на плечах и прижался головой к моей щеке – это мой любимый снимок, – вот уж действительно предел мечтаний и содружество миров.

На других снимках Голубчик у меня на кровати, на полу рядом с тапочками, на кресле – я всем показываю, не из хвастовства, а просто чтобы заинтересовать.

– Смотрите, – сказал я. – Понимаете теперь, что это недоразумение. Речь не обо мне, а о самом настоящем удаве. А эта дама, хоть она и иностранка, но должна бы отличать, где удав, а где человек. Тем более что в моем Голубчике два метра двадцать сантиметров.

– В каком Голубчике? – переспросил комиссар.

– Так зовут моего удава.

Полицейские снова заржали, а я расвирепел не на шутку, до испарины.

Я жутко боюсь полиции – из-за Жана Мулена и Пьера Броссолета. Может, и удава-то завел отчасти для маскировки, чтобы отвлечь от них внимание. Любой запал быстро догорает. Если я почему-либо попаду под подозрение и ко мне придут с обыском, то сразу наткнутся на двухметрового удава, который бросается-таки в глаза в двухкомнатной квартирке, и не станут искать ничего другого, тем более что в наше время о Жане Мулене с Пьером Броссолетом и думать забыли. Говорю об этом из соображений конспирации, необходимой в городе с десятиллионным населением.

Это не считая зародышей, а я к тому же всецело разделяю мнение Ассоциации врачей о том, что жизнь начинается еще до рождения, и в этом смысле надо понимать эпиграф, позаимствованный из заявления, с которым я солидарен.

Комиссар предъявил фотографии стихийной эмигрантке, и она вынуждена была признать, что видела именно этого, а не какого-то иного Голубчика.

– А вам известно, что на содержание удава требуется особое разрешение? – спросил меня комиссар отеческим тоном.

Тут уж я сам чуть не рассмеялся. Что-что, а документы у меня в ажуре. Ни одной фальшивки, как бывало при немцах. Все подлинные, как при французах. Комиссар был удовлетворен. Нет ничего отраднее для сердца полицейского, чем исправные документы. И это естественно.

– Позвольте спросить вас чисто по-человечески, – сказал он, – почему вы завели удава, а не другое животное, более, знаете, такое?..

– Более какое?

– Ну, более близкое к человеку. Собаку там, хорошенькую птичку вроде канарейки. . .

– По-вашему, канарейка ближе к человеку?

– Я имею в виду привычных домашних животных. Удавы, согласитесь, как-то не располагают к общению.

– Такие вещи не зависят от нашего выбора, господин комиссар. Они предопределены греховным, то есть, я хотел сказать, духовным сродством. В физике это, кажется, называется спаренными атомами.

– Вы хотите сказать. . .

– Да. Встреча – дело случая, а он не в нашей власти. Я не из тех, кто помещает объявления в газете: «Ищу встречи с девушкой из хорошей семьи, 167 см, светлой шатенкой с голубыми глазами и вздернутым носиком, любящей Девятую симфонию Баха».

– Девятая симфония у Бетховена, – заметил комиссар.

– Знаю, но это уже старо. . . Ищи не ищи встречи, а решает все случай. Чаще всего мужчина и женщина, предназначенные друг для друга, не встречаются, и ничего не попишешь, это судьба.

– Я что-то не понял.

– Загляните в словарь. *Фатум фактотум*. От судьбы не уйдешь. Уж это я по себе знаю. Я, можно сказать, ходячая греческая трагедия. Иной раз даже подумываю, нет ли у меня в роду греков. А ведь кто-то с кем-то постоянно встречается, взять хотя бы школьные задачки, но от этих ничейных встреч никакого толку, зря только дети мучаются. Недаром говорят: школьная программа устарела, пора менять.

Комиссар, кажется, потерял нить.

– Что-то я не могу уследить за вашей мыслью, – сказал он. – Очень уж круто завираете. . . я хотел сказать, забираете на виражах.

– А как же! – ответил я. – На то она и мысль, чтоб делать виражи, витки и петли. Главное – не отрываться от темы, таково первое правило любого упорядоченного мыслительного движения. «Греческая трагедия» – это одно, а, например, «греческая демократия» – совсем другое.

– Не понимаю, при чем тут политика, – сказал комиссар.

– Абсолютно ни при чем. Именно это я и сказал нашему уборщику.

– Вот как?

– Да. Он пытался затащить меня на какую-то «демонстрацию». Говорю в кавычках, потому что цитирую. Сам я такими делами не занимаюсь. Это все равно что линька: лезешь из кожи вон, а в результате одна видимость перемен. Опять же – судьба, то бишь Греция.

Комиссар снова ничего не понял, но как-то уже по привычке.

– Так вы точно не занимаетесь политикой?

– Точно. Уж в своей-то теме я разбираюсь, будьте уверены. Удав – нечто вполне завершенное. Удав линяет, но не меняется. Так уж запрограммировано. Меняет одну кожу на другую такую же, только посвежее, вот и все. Будь в них заложен другой код, другая программа – тогда да, а еще бы лучше, если бы кто-то совсем другой запрограммировал что-то совсем другое, небывалое. Нечто подобное наметилось было в Техасе, вы, может, читали в газетах про пятно. Это было ни на что не похоже, и у меня зародилась Надежда, но вскоре угасла. Если бы неведомо кто запрограммировал неведомо что неведомо где – лишь бы где-нибудь подальше, принимая во внимание «среду» или, как это по-военному говорится, «окружение», – может, тогда и получилось бы что-нибудь толковое. Но надо, чтобы было заинтересованное лицо. А удавы программировались без всякого интереса – таяп-ляп. Поэтому я ни на какую

демонстрацию не пошел. Не подумайте, что я перед вами оправдываюсь как перед блюстителем. Их там должно было собрататься сто тысяч, от Бастилии до Стены коммунаров, такая традиция, привычка и установка: колонна длиной в три километра от головы до хвоста, ну а мне больше подходит длина в два метра двадцать сантиметров, у меня это называется «один Голубчик» – два двадцать, от силы два двадцать два. При желании он может растянуться еще на парочку сантиметров.

– Как его зовут, этого вашего уборщика?

– Не знаю. Мы мало знакомы. Но я ему так и сказал: хоть три километра, хоть два с лишним метра – размер тут ни при чем, удав есть удав, закон есть закон. . .

– Вы рассуждаете весьма здраво, – сказал закон, то есть комиссар. – Если бы все думали так же, был бы полный порядок. Но нынешняя молодежь слишком поверхностна.

– Потому что ходит по улицам.

– Не понял. . .

– Ну, они все выходят на улицы, а улицы поверхностны. Надо уходить внутрь, зарываться вглубь, таиться во мраке, как Жан Мулен и Пьер Бросолет.

– Кто-кто?

– . . . а этот малый разозлился. Обозвал меня жертвой. . .

– Так как же зовут этого вашего уборщика?

– . . . сказал, что мой удав – религиозный дурман, что я должен вылезти из своей дыры и развернуться во всю ширь, во всю длину. Нет, про длину, пожалуй, не говорил, длина его не волнует.

– Он, по крайней мере, француз?

– . . . даже польстил мне – назвал отклонением от природы. Я-то понял, что он хочет сделать мне приятное.

– Хорошо бы вы время от времени заходили ко мне, месье Кузен, с вами узнаешь столько нового. Только постарайтесь записывать имена и адреса. Всегда полезно заводить друзей.

– Я еще сказал ему, что человеческое несовершенство не исправишь с оружием в руках,

– Пойдите, пойдите. Он что же, разговаривал с вами с оружием в руках?

– Да нет! Наоборот, он всех голыми руками норовит. Это я сказал – «с оружием в руках», так уж говорится. Фигура речи, добрая старая франкоязычная фигура. Но у удава своя фигура, какие же у него руки!

– Так это вы ему пригрозили? А он что?

– Взорвался. Обозвал меня эмбрионом, который боится родиться на свет. Вот тогда-то я от него и услышал про аборт и про заявление профессора Лорта-Жакоба, ну, знаете, из Ассоциации врачей.

– Кого-кого?

– Великого сына Франции, ныне, увы, покойного, который тут совершенно ни при чем. Я ему и говорю: «Ладно, а что вы сделали, чтобы помочь мне родиться?»

– Профессору Лорта-Жакобу? Но он же не акушер! Он знаменитый хирург! Светило!

– О хирургии и речь. Мальчишка-уборщик так и сказал мне в тот раз в коридоре на десятом этаже: «Рождение – это активное действие». Операция. Возможно, кесарево сечение. Поиск выхода. А если выхода нет, надо его проделать. Понимаете?

– Разумеется, понимаю. Не понимал бы, месье Кузен, так меня бы не назначили комиссаром XV округа. Здесь ведь полно студентов. Чтобы справляться с работой, надо находить с ними общий язык.

– Ну вот, когда я отказался растянуться на три километра, от Бастилии до Стены коммунаров, с песнями, он прямо взорвался. Назвал отклонением от природы. . . Сказал, что а

боюсь родиться на свет, не живу, а только делаю вид, и вообще не человек, а животное, в чем я, в общем-то, не вижу ничего оскорбительного. И ушел. А я ему тогда сказал, что я действительно отклонение, как любое существо, находящееся в переходном состоянии, и этим горжусь, что жить – значит дерзать, а дерзание – всегда против природы, взять хоть первых христиан, и видал я эту природу, извиняюсь, в одном месте. Мне, говорю, не хватает любви и ласки, и пошел ты на фиг.

– Правильно. Молодец. Все это впрямую относится к полиции.

– Не в обиду вам будь сказано, господин комиссар, но это не вас я называл отклонением от природы. Вы приняли мои слова как комплимент на свой счет, а я просто накручивал узлы и петли, приводя ход мысли в соответствие с избранной темой. Полиция, напротив, явление самое природное, закономерное и органичное.

– Благодарю за лестное мнение, месье Кузен,

– Не за что. Вы спросили, почему я завел удава, вот я и отвечаю. Я принял это благое для себя решение во время турпоездки в Африку вместе со своей будущей невестой, мадемуазель Дрейфус, там родина ее предков. Меня поразили тропический лес. Влажность, испарения, миазмы. . . словом, питомник цивилизации. Заглянешь – многое проясняется. Кишение, деление, размножение. . . Забавная штука – природа, особенно как подумаешь о Жане Мулене и Пьере Бросолете. . .

– Ну-ка, ну-ка, повторите имена.

– Да нет, это я так. Можете не трудиться – с ними уже разобрались.

– Если я правильно понял, вы завели удава, окунувшись в дикую природу?

– Дело в том, что я подвержен комплексу. Приступам страха. Мне кажется, что из меня никогда уже никого не получится. Что мой предел желаний нефранкоязычен. Декарт или кто-то еще из великих сказал по этому поводу нечто замечательное – точно знаю, что сказал, только не знаю точно что. Так или иначе, но я отважился посмотреть правде в глаза, надеясь пересилить страх. Комплекс тревоги, комиссар, – мое больное место.

– У нас вы в безопасности. Под защитой полиции.

– Так вот, когда я увидел удава около гостиницы в Абиджане, то сразу понял: мы созданы друг для друга. Он так туго свернулся, что я вмиг догадался: ему страшно, и он хочет уйти в себя, спрятаться, исчезнуть. Видели бы вы, как брезгливо скорчились все дамы нашей группы при виде бедного животного. Кроме, конечно, мадемуазель Дрейфус. А недавно она обратила на меня внимание на Елисейских полях. И на другой день очень деликатно дала мне это понять. «Я, говорит, вас видела в воскресенье на Елисейских полях». Короче, я взял удава, даже цену не спросил. В тот же вечер в номере он забрался ко мне под одеяло и приголубил, вот почему я назвал его Голубчиком. А мадемуазель Дрейфус из Гвианы, и ее так зовут из франкоязычных соображений, постольку поскольку там очень чтят облыжного капитана Дрейфуса – который на самом деле ничего не сделал – за все, что он сделал для страны.

Я бы охотно продолжил беседу, и в конце концов мы бы, возможно, подружились. Не зря же между нами росло взаимное непонимание – залог того, что у людей много общего. Но комиссар заметно утомился и смотрел на меня почти с ужасом, это сближало нас еще больше, поскольку и я его жутко боялся. Однако он нашел в себе силы проявить еще немного внимания и спросил:

– А налог за автомобиль у вас уплачен?

Этот налог я аккуратно плачу каждый год для поддержания духа, чтобы чувствовать, что могу вот-вот купить автомобиль. Так я и сказал комиссару и прибавил:

– Давайте как-нибудь в выходной сходим вместе в Лувр, хотите?

Он испугался еще больше. Я его заворожил, это ясно. Классический случай. Он сидел, а я ходил кругами, как бы невзначай подступая к нему все ближе, целых полчаса я кружил, а он следил за мной с неотрывным интересом. По натуре я привязчив. И всегда испытываю потребность кого-нибудь опекать, с кем-нибудь делиться. А чем комиссар полиции хуже кого-нибудь другого? Правда, у него был смущенный вид, может, оттого, что я ему нравился. В таких случаях люди отводят глаза. Как от нищего бродяги. Взглянуть прямо неловко, вот и смотришь в сторону. Однако еще великий французский поэт Франсуа Вийон предсказывал: *«О люди – братья будущих времен. . .»** Стало быть, знал: придут такие времена.

Комиссар встал:

– У меня обед.

Открыто пригласить меня пообедать он не осмелился, но я уловил его мысль. Я взял карандаш, бумагу и написал свое имя и адрес: может, как-нибудь заглянет патруль.

– Мне было бы приятно. Полиция обнадеживает.

– У нас туго с кадрами.

– Понимаю, самому, бывает, туго приходится.

Комиссар поспешно пожал мне руку и отправился обедать. Я намеренно выделяю обед, чтобы подчеркнуть, что я не сбился и продолжаю начатую тему о «яствах земных».

*Первая строка из «Баллады повешенных» Франсуа Вийона.

Итак, предстояло отыскать другую пищу для Голубчика: скормливать ему мышей и морских свинок я не мог – мне делалось дурно. У меня вообще очень чувствительный желудок. Все это я и изложил отцу Жозефу. Как видите, я необыкновенно последователен, и это главная моя беда.

– Я не способен накормить его. При одной мысли, что несчастная белая мышка будет проглочена, меня мутит.

– Кормите серыми, – предложил священник.

– Серые, белые – все равно тошнит.

– Накупите их побольше. Тогда перестанете различать. Вы так относитесь к ним, пока берете по одной особи. Обособляете. А возьмите безликую массу – острота поуменьшится. Вблизи видна личность. Недаром убивать знакомых всегда труднее. Я знаю, что говорю, – во время войны служил капелланом. Издалека, когда не видно, в кого стреляешь, гораздо легче. Летчики, например, сбрасывают бомбы и мало что чувствуют. Поскольку смотрят с большой высоты.

Он задумчиво помолчал, сделал затяжку-другую и продолжал:

– Ну, а в общем, ничего не поделаешь. Таков закон природы. Каждый жрет что ему по нутру. Голод не тетка. . .

И он тяжело вздохнул, вспомнив о голодающих всего мира.

В мышах особенно трогательна невыразимость. Им тоже внушает страх окружающий мир, но все их выразительные средства – пара глазок-бусинок. Мне же для этой цели служат великие писатели, гениальные художники, композиторы.

– Как это прекрасно выражено в Девятой симфонии Баха, – сказал я.

– Бетховена.

Ну, достанут они меня, консерваторы твердолобые!

– Мне больно за всех: за белых, серых – каких угодно.

– Ну, это уже больное воображение. К тому же, помнится мне, удавы не пережевывают пищу, а заглатывают целиком. Какая же тут боль!

Мы явно не понимали друг друга. Но вдруг аббата осенило.

Не можете сами – наймите кого-нибудь, пусть кормит пашу тварюгу, – сказал он.

Меня взяла оторопь: почему я сам не дошел до такой простой мысли! И сразу всколыхнулся комплекс. Нет, у меня явно что-то не в порядке.

Я сидел как дурак и хлопал глазами. Проще ведь некуда. Колумбовы яйца – вот чего мне не хватает.

Наконец я оклемался и сказал:

– Я говорю о боли не в физическом, а в моральном смысле, имея в виду сострадание.

– У вас его скопилось через край, – сказал отец Жозеф. – В избытке. От избытка вы и страдаете. По-моему, месье Кузен, нет ничего хорошего в том, что вы расходуете запасы не на ближних своих, а на удава.

Взаимопонимание убывало.

– Страдаю от избытка?

– Вас переполняет невостребованная любовь, но, вместо того чтобы поступать как все люди, вы привязываетесь к удавам и мышам.

Протянув руки поверх лежащего на столике счета, он взял меня за плечо и сказал:

– Вы неважный христианин. Надо уметь покоряться. Есть вещи непостижимые, недоступные нашему разуму, и их следует принимать. Это называется смирением.

Я вдруг с симпатией подумал о нашем уборщике.

– Сделать удавов привлекательными, а мышей неуязвимыми невозможно, месье Кузен. Вы направили естественные чувства не в то русло, и это не доведет до добра. Женитесь-ка на простой работающей девушке, заведите детишек и увидите: вы и думать забудете о законах природы,

– Что же это тогда за жена! Мне такой не надо, отец мой. Сколько я вам должен? – Последнее относилось к официанту.

Не сговариваясь, мы с аббатом встали и пожали Друг другу руки. Рядом посетители играли в механический бильярд.

– Впрочем, практически решение вашей проблемы найдено, – сказал аббат. – У вас есть прислуга? Пусть она раз в неделю и покормит удава в ваше отсутствие.

Он замялся, не желая быть назойливым, но не удержался и напоследок добавил:

– Не забывайте, в мире умирают с голоду дети. Думайте о них время от времени. Это пойдет вам на пользу.

Он сокрушил меня этим ударом и оставил на тротуаре, рядом с раздавленным окурком. Я пошел домой, лег и уставился в потолок. Мне так не хватало дружеских объятий, что я готов был удавиться. На мое счастье, Голубчик замерз – я сам коварно перекрыл отопление именно с этой целью, – приполз и обвился вокруг меня, блаженно мурлыча. Удавы, конечно, не мурлычат, но я успешно делал это за него, помогая ему выразить удовольствие. Получался диалог.

На другой день я примчался на работу на час раньше, чтобы застать уборщика, просто поглядеть, что у него написано на лице, но мне не повезло. Экспедитор у входа сказал, что парнишки нет, он на тренировке. Спрашивать, что за тренировка, я не стал – зачем знать лишнее.

А на обратном пути в метро выбрал, по обыкновению, приличного, внушающего мне уверенность в себе человека и подсел к нему. Он почувствовал неудобство – вагон-то был наполовину пустой – и сказал:

– Вы не могли бы пересесть, места, кажется, хватает?

Так всегда. Людей стесняет близость.

Как-то раз вообще получилось смешно: мы с другим приличным господином вместе вошли в абсолютно пустой вагон на Венсенской линии и сели рядом. Минуту-другую терпели, а потом встали и пересели на разные сиденья. Все тот же комплекс! Я ходил к специалисту, доктору Пораду, и он сказал, что страдать от одиночества в большом городе, где трутся и толкуются с десятков миллионов человек, вполне нормально. В Нью-Йорке, я читал, есть особая телефонная служба, куда можно обратиться, когда начинаешь сомневаться, правда ли ты есть на свете. Женский голос подбадривает, уговаривает жить дальше. А в Париже снимешь трубку, так не только слова доброго не услышишь от почтово-телеграфного ведомства, но частенько и гудка не добьешься. Наши мерзавцы хладнокровно выкладывают вам всю правду: вы пустое место, на вас даже гудка жалко. А еще нападают на бордели – видите ли, защищают человеческое достоинство, как будто оно помещается в гениталиях. Всему виной политическое чванство. Не мне судить, что хорошо и что плохо для свободного развития абортариев, и критиковать общественные установления. Сидя внутри, смотреть со стороны неудобно. Я всего лишь стараюсь собрать максимум информации для возможных в будущем изысканий. Так всегда бывает: пройдет время, и ученые займутся выяснением и объяснением что да почему.

Я знаю, в природе нет недостатка в объектах любви: цветы, перелетные птицы, собаки – любви что хочешь, только бедный одинокий удав никому не нужен.

Поэтому я и решил развернуть информационную кампанию: люди должны наконец узнать, увидеть, понять меня. Сие грандиозное решение ничего не изменило, зато придало мне решимости, а решимость величайшее благо.

Так вот, выбрав погожее утречко, я посадил Голубчика себе на плечи и вышел с ним на улицу. Гулял себе как ни в чем не бывало со своим удавом и гордо поглядывал по сторонам.

Ну что сказать – интерес я, безусловно, возбудил. На меня, наверно, никогда не обращали столько внимания. Меня окружили, шли за мной следом, со мной заговаривали, интересовались, что эта змея ест, кусается ли, ядовита или нет. Все задают одни и те же вопросы, когда впервые сталкиваются с удавом. А Голубчик знай себе спал – такова его обычная реакция на эмоциональную нагрузку. Кое-кто отпускал и колкости. Одна особа с пышным бюстом выкрикнула:

– Да он просто хочет, чтоб его заметили!

Да, хочу. Что же, мне из-за этого удавиться?

С тех пор я стал часто гулять с Голубчиком, иногда целыми днями. Люди мало общаются, мало знают друг друга, отсюда предрассудки, конфликты, распри и все такое. Вот я и понес информацию в массы.

Надо сказать, Голубчик на вид очень славный. Смахивает на симпатичный слоновий хобот. С первого взгляда его, как правило» принимают за кого-то другого. Впрочем, я-то знаю – от

близкого знакомства он только выигрывает. На вопросы я отвечал вежливо, на все, кроме одного: не терплю, когда спрашивают, что он ест. Что ест, то и ест, кому какое дело! Однако в пространные разъяснения я не пускался, агитация ни к чему. Люди должны сами во всем разобраться, научиться понимать Друг друга, а это приходит со временем.

Но скоро вмешалась полиция, и нашим с Голубчиком прогулкам пришел конец. Оказывается, появление на улицах Парижа с животными, которые считаются опасными, запрещено и расценивается как нарушение общественного порядка.

Что ж, тогда перейдем к конкретным наблюдениям по интересующему нас вопросу.

Самый, пожалуй, вопиющий случай – пенсионер из тридцать седьмой квартиры. Ни с того ни с сего он начал вдруг со скорбным видом рассказывать всем и каждому – а раньше не заговаривал ни с кем, не желая, чтоб его жалели, – что потерял любимую собачку. Все сочувствовали, пока не вспомнили, что никакой собаки у него сроду не было. Просто пришла старость, и ему захотелось всех уверить, будто и у него в жизни была любовь, было что терять. Ему не перечили – какая, в конце концов, разница. Так он и умер с горя, счастливый сознанием, что прожил не пустую жизнь.

Я уже говорил, что Голубчик ужасно красивый. Особенно когда в комнате солнце и он проворно скользит по полу, чешуйки отливают зеленью, охрой и гармонируют с цветом линолеума. Я нарочно подобрал густо-зеленый с землистым оттенком, самый натуральный. Не линолеум, конечно, натуральный, а фон для нас с Голубчиком, из соображений естественной среды. Я, правда, не уверен, различает ли он цвета, но делаю что могу. Зубы у него посажены косо и чуть загнуты внутрь, так что когда он берет мою руку в рот, давая знать, что проголодался, я вынимаю ее очень осторожно, чтобы не оцарапаться. Днем приходится оставлять его одного, не брать же его с собой на службу. Пойдут еще кривотолки. Хотя жалко – я ведь занимаюсь статистикой, для одиночки профессия – хуже нет! Целый день у тебя миллиарды, а домой приходишь ничтожной малостью, близкой к нулю. В единице есть что-то тревожное, жалкое, потерянное, она похожа на грустного комика Чарли Чаплина. Как вижу цифру 1, так и хочется помочь ей выйти в люди. Круглая сирота, выросла в приюте, всего достигла сама, и вечно ей сзади наступает на пятки колья, а впереди перекрывает путь вся мафия больших величин. Единица – живое свидетельство о недорождении и недозачатии. Она тянется к двойне, но потешно семенит на месте. Беспорядочно, как инфузории в капле. Люблю смотреть старые фильмы с Чарли Чаплином, сижу и смеюсь, как будто они не про меня, а про него. Будь я позначительней, единичку бы у меня всегда играл шуплый Чарли с котелком и тросточкой, что вечно улепетывает от жирного ноля, а тот орет на него, выпучив глаза, и никак не дает удвоиться. Нолю надо, чтобы было сто миллионов единиц, не меньше, иначе никакой демографии и никакой прибыли. Не будет притока спермы в банк, и прогорит дело. Ну, а бедняга Чарли опять убегает, опять остается один, и так без конца и без начала. Интересно, что он ест. Нешуточное это дело – единичная жизнь.

Я рано осиротел: мои родители разбились на машине, когда я был совсем маленьким. Меня поместили в одну семью, потом в другую, в третью. «Здорово, – подумал я, – глядишь, совершу кругосветное путешествие».

Желая скрасить одиночество, я увлекся счетом. В четырнадцать лет считал ночами напролет, доходил до миллионов, надеялся хоть кого-нибудь найти в этом множестве. В конце концов пошел работать в статистику. Считалось, что у меня склонность к большим величинам, а я просто-напросто хотел закалить себя и заглушить тревожный комплекс, в этом смысле нет лучшего упражнения, чем статистика. Так вот и получилось, что в одно прекрасное утро мадам Нибельмесс застала меня стоящим посреди комнаты в обнимку с самим собой. Я даже легонько покачивался, как будто сам себя убаюкивал, хотя и знал: стыдно, что за младенчество! Утехи с Голубчиком все-таки более естественны. Я как его увидел, сразу понял: вот кто утолит мой эмоциональный голод.

С другой стороны, я стараюсь не допускать перекоса, поддерживаю равновесие, регулярно посещая проститутку – категорически заявляю, что употребляю это слово в самом благородном значении, подразумевая величайшую благодарность, уважение в обществе и награду «За особые заслуги».

Человека, ушедшего в подполье с удавом, одолевает порой безысходность, а тут хоть какая-то отдушина. Сердце проститутки бьется для вас в любое время, приложи ухо к ее груди и слушай, она никогда не пошлет вас куда подальше. Я прижимаюсь ухом, и мы с моей улыбкой слушаем. Девушкам я иногда рекомендую студентом-медиком.

С Голубчиком бывает, как правило, так: я усаживаюсь в кресло, беру его, а он обхватывает мои плечи длиннющей рукой в два метра двадцать сантиметров. Это и называется «органической потребностью». Физиономия у него невыразительная, в силу происхождения: каменный век, допотопные условия и все такое, то же самое у черепах. Взгляд его исходит из глубины пятидесяти с лишним тысяч веков и упирается в стены моей двухкомнатушки. Соседство существа, добравшегося до Парижа из столь далекого прошлого, приятно и утешительно. Оно настраивает на философский лад, внушает мысли о вечном. Иногда он шаловливо покусывает мне ухо – привет из первобытной эпохи, – ощущение непередаваемое. Я не мешаю ему, закрываю глаза и жду. Внимательный читатель уже должен был догадаться по некоторым намекам, чего именно. Жду, чтобы Голубчик пошел дальше, сделал грандиозный скачок в эволюции и заговорил со мной человеческим голосом. Это и было бы пределом мечтаний. У нас у всех такое затянувшееся несчастливое детство. . .

Часто я так и засыпаю с доверчивой улыбкой в надежных объятиях двухметрового друга. У меня есть снимок: я сижу в кресле, обвитый спящим Голубчиком. Хотел показать его мадемуазель Дрейфус, но побоялся, как бы она от меня не отступилась, не подумала, что я обласкан по горло. Конечно, я мог бы ей объяснить, что сила объятий измеряется не весом и длиной, а глубиной чувства, но все же есть риск разбудить и в ней тревожный комплекс.

Эх, дорого мне обходится необыкновенное сожительство с Голубчиком. Поверьте моему опыту: мало какая женщина сможет терпеть близость удава. Для этого требуются особая чуткость и душевность, это серьезное испытание, тест, проверка. Без большой охоты никто не пойдет на такое, слишком велико расстояние между нормальным человеком и человеком с удавом. Но мадемуазель Дрейфус, несомненно, смогла бы, тем более что их предки охотились в одних и тех же лесах.

Иногда я просыпаюсь в кресле от удушья – так крепко спит Голубчик. Принимаю две таблетки валидола и засыпаю дальше. Профессор Фишер, автор монографии о питонах и удавах, пишет, что они тоже видят сны. Но не пишет какие. У меня на этот счет свои соображения. Я убежден: удавы спят и видят любимое существо. Мне это точно известно.

Движимый интуицией и жадной познания, я сам стал видеть удавы сны. Как известно, поставить себя на свое место никак нельзя: во-первых, оно уже занято, во-вторых, мешает тревожный комплекс. Зато, используя симпатический метод, можно поставить себя на место другого. Не знаю, насколько достоверно с научной точки зрения мое открытие, но, действуя таким образом, я и пришел к заключению, что удавы грезят о любви.

С первых же шагов я выяснил поразительные вещи.

Прежде всего обнаружил, что я очень красивый. И мило улыбаюсь, когда мне хорошо. Не считите это суждение за нескромность, ведь оно не мое. Что же до собственных моих, выражаясь напыщенно, воззрений на свою наружность, то я как-то осведомился у одной проститутки. Употребляю этот расхожий термин, заимствуя его у других, из соображений коллективизма и солидарности, сам же я его не одобряю, поскольку он уничижительный, а я унижать не люблю. Так и спросил, что она думает о моей наружности. Она сильно удивилась, потому что вроде бы уже отработала свое. Остановилась на пороге и обернулась. Хрупкая, но бывалая блондинка.

– Ты что-то спросил?

– Что ты думаешь о моей наружности?

В ее обязанности это не входило – все официальные отношения между нами были завершены. Но само ее ремесло располагает к человеколюбию.

– Дай-ка посмотрю. Я ведь тебя не разглядывала. Не до того было – работа. . .

И посмотрела. Внимательно. Хорошо, что сейчас, а не раньше, а то бы я ничего не смог. И сказала неопределенно:

– Н-ну, ничего. . . Как все. Даже что-то есть: ты трогательный, будто боишься, что тебя съедят. . .

Пожала плечами и рассмеялась, но не зло.

– Да ты не расстраивайся. Выкинь из головы. И вообще, любовь – дело такое: не по хорошу мил, а по милу хорош.

У меня защипало в горле, будто я встретил что-то прекрасное. Но ведь в самом деле прекрасно, когда преграды между людьми рушатся и все становятся одним целым. В страшные дни мая шестьдесят восьмого, когда я три недели безвылазно сидел дома – думал, конец света, а раз так, пришла пора надеяться, – и опасно выглядывал из окна, я видел, как совершенно незнакомые люди останавливались на улице, разговаривали друг с другом.

– И потом, у тебя хоть взгляд человеческий. А большинство вообще не глядят, так только, все равно что машины ночью, когда, чтобы не ослепить встречных, катят с притушенным светом. Ну все, пока.

Она ушла, а я еще минут десять сидел в комнате один, утопая в блаженстве, охваченный эйфорией и «прологоменом». Не знаю, что означает это слово, но я его всегда употребляю для обозначения веры в неведомое.

Это было очень вовремя, потому что как раз на другой день у Голубчика началась линька. Третья с тех пор, как он живет у меня. Две первые попытки закончились переменой кожи.

Начинается с того, что он впадает в апатию, будто все ему надоело и он во всем разуверился; глаза затягиваются мутной пленкой, а потом старая кожа начинает лопаться и слезать. Это чудное время – миг обновления, заря Надежды. Конечно, новая кожа ничем не отличается от старой, но Голубчик страшно доволен, снует и мечется по полу во все стороны, и я тоже чувствую себя счастливым. Без всякой причины, но это и есть самое настоящее счастье.

В статуправлении я постоянно напеваю, потираю руки, мне не сидится на месте, и сослуживцы удивляются моему оживлению. Я ставлю перед собой на рабочий стол букетик

цветов, строю планы на будущее. Потом все успокаивается. Я снова заползаю в свое пальто-шляпу-шарф, в свою двухкомнатушку. А там Голубчик лежит, как обычно, клубком в углу. Праздник окончен. Но все равно это чудесно. И очень полезно для организма: обостряет чувства и предчувствия, укрепляет упования.

Собственно говоря, с собой я еще худо-бедно разберусь, а вот с другими беда. Хоть за порог не выходи. Как уже неоднократно отмечалось в нашем повествовании, в Париже и пригородах проживают десять миллионов человек, чье невидимое присутствие вполне ощутимо, но я иногда остро ощущаю их видимое отсутствие, и в этой отсутствующей толпе у меня разыгрывается комплекс. Испарина небытия. Правда, врач сказал мне, что это ничего, страх пустоты – разновидность страха больших множеств, подчиняющих себе малые, такова математика современности. Я думаю, мадемуазель Дрейфус должна страдать от него особенно остро, поскольку она цветная. Мы созданы друг для друга, но она колеблется из-за моих отношений с Голубчиком. Наверно, думает, что человек, окруживший себя удавом, ищет каких-то необыкновенных спутников жизни. И сомневается в себе. Поэтому вскоре после нашей встречи на Елисейских полях я сделал попытку помочь ей. Пришел на работу чуть раньше обычного и стал ее дожидаться около лифта, чтобы совершить поездку вместе. Надо же поближе познакомиться, прежде чем принять окончательное решение. А в пути люди быстрее сходятся, лучше узнают друг друга. Хотя в лифте все, как правило, держатся скованно, стоят навтыжку, не глядя на попутчиков, боятся ступить на чужую территорию. Лифт – настоящий английский клуб с остановками на каждом этаже. У нас в статупре каждая поездка занимает минуту десять секунд, а когда едешь так каждый день, пусть даже молча, со временем подбирается тесная компания товарищей по лифту. Постоянное место встреч много значит.

За четырнадцать первых поездок у нас с мадемуазель Дрейфус ничего не разладилось. К счастью, кабинка не слишком большая, восьмером там очень уютно. Я всю дорогу сохраняю выразительное молчание, все равно за минуту не раскроешься, а выглядеть балагуром или массовиком-затейником не хочется. Когда же мы высадились на своем десятом в пятнадцатый раз, мадемуазель Дрейфус вдруг заговорила со мной, причем сразу по существу:

– А ваш удав, он все еще живет с вами?

Вот так, нежданно-негаданно. И смотрит мне прямо в глаза. Когда женщина чего-то хочет. . .

У меня захватило дух. До той поры никому до меня не было дела. И такая ревность – дескать, выбирай: он или я – мне в новинку.

Я стушевался и сморозил глупость, просто чушь собачью:

– Да, он со мной. Понимаете, в условиях Большого Парижа надо, чтобы рядом было любимое существо.

Любимое существо. . . Ну, не кретин ли – сказануть такое девушке?! Ведь вследствие естественного взаимонепонимания она только и могла заключить, что у меня уже кто-то есть, благодарю покорно. Так и вижу ее, сапоги выше колена и мини-юбка из чего-то такого. Да еще оранжевая блузка.

Она очень красивая. Я мог бы сделать ее еще прекраснее силой воображения, но не буду, чтобы не увеличивать дистанцию между членами нашего треугольника.

Сколько у меня могло быть женщин, не держи я удава, страшное дело! Слишком богатый выбор тоже рождает комплекс. Впрочем, я взял в дом вызывающее чувство всеобщего омерзения пресмыкающееся не для самообороны, я хотел, чтобы рядом было. . . Прошу прощения. Кажется, я выхожу за рамки естественнонаучного исследования.

Когда я сказал мадемуазель Дрейфус, что у меня есть любимое существо, она так на меня посмотрела. . . но не подала виду, что обиделась или огорчилась. Ничуть. Сила привычки развивает у черных в Париже чувство собственного достоинства.

Она даже улыбнулась. Грустно, будто нехотя, но улыбки часто бывают грустными, с чего

веселиться?

– Счастливо, до свидания.

Попрощалась она очень вежливо и подала мне руку. Мне бы ее поцеловать, как было принято в старину. Но, чего доброго, прослывешь ископаемым.

– Счастливо, до свидания, спасибо, – сказал я, и она пошла по коридору в своей мини-юбочке.

А я остался стоять, мысленно нащупывая газовый кран. Умереть, умереть на месте, сию же минуту. Я уже обдумывал, как бы осуществить это желание, но вдруг на меня налетел уборщик, тащивший, как атлет, пирамиду из пяти мусорных корзинок.

– Чего ты тут торчишь, Голубчик? Да еще с такой кислой мордой?

В управлении меня зовут Голубчиком, шутка такая. По-моему, ничего остроумного, ну да ладно, я притерпелся.

– Да что с тобой?

Я не стал пускаться в откровения. Почему-то паренек не внушает мне доверия. Я его даже опасуюсь. Он вроде бы что-то замышляет. И это подозрительно. Но в конце концов, я не полиция. Знаю я таких: делают вид, что им все нипочем, а совершить ничего не могут, вранье – оно вранье и есть. И еще не люблю, когда мне талдычат, будто я все делаю не так. А наш уборщик вечно корчит из себя умника да поглядывает с хитрой ухмылкой: мол, ему-то известно, что и как надо делать, все проще простого, только руку протяни.

Нет, не нравится мне его взгляд. Будто я перед ним провинился. А у меня тоже есть гордость, и нечего меня шпынять почем зря.

– Кстати, – сказал он из-за своей пирамиды, – в субботу вечером у нас собрание. Может, придешь?

Узнаю честолюбца: все они только и знают, что предъявлять требования и претензии. В сущности, тот же фашизм. Впрочем, может, тотальный фашизм, обрывающий все надежды, не так уж плох. Чем не демократия: у всех одинаково нет свободы, и все понимают, почему ее нет и быть не может. Значит, у всех есть оправдание. Бывают же люди, которые до того боятся смерти, что не выдерживают спокойной жизни и кончают с собой.

– В полдевятого в комитете. Приходи. Хоть выползешь из своей дыры.

Чего я действительно не терплю, так это когда ругают мое жилище. Лично для меня нет ничего дороже. Каждый предмет, каждая вещица в моем доме, от шкафа до пепельницы, – мои старые друзья. Я твердо знаю, что каждый вечер найду их на тех же местах, где оставил утром. Это вселяет уверенность. И ослабляет комплекс. Кресло, кровать, стул всегда готовы принять меня, свет послушно зажигается, только нажми на кнопку.

– Мой дом не дыра, – сказал я. – Дыра – это пустое место, а я живу в удобной квартире.

– Ты просто врос в нее и ничего не видишь, – ответил он. – Да не кипятись, мне, в общем-то, до тебя нет дела, но больно смотреть. Так приходи в субботу. У меня заняты руки, возьми-ка сам у меня из кармана листочек, там указаны день и час. Развеешься.

Я чуть не послушался – в силу слабости. Не все знают, какая огромная сила слабость и как трудно с ней бороться. К тому же мне не хотелось, чтобы считали, будто я эгоист и ничего не вижу дальше своего Голубчика. Хотя, если уж на то пошло, я не из тех, кто готов присудить Иисусу Христу Нобелевскую премию по литературе. У меня, как ни странно, обычная температура тела – тридцать шесть и шесть, хотя самочувствие подсказывает минус пять. По-моему, недостаток тепла может быть возмещен, если в один прекрасный день откроют новый, независимый от арабов источник энергии; наука сотворит очередное чудо, и можно будет получать любовь прямо от сети.

Непреложная ценность этих строк так очевидна, что я обратился к нескольким издателям с письмом, текст которого приведен ниже. И издатели» и текст подбирались с величайшей придирчивостью, постольку поскольку мое произведение еще находится в состоянии сыроватости и чреватости, а подавление зародышей – явление весьма и весьма распространенное в наши дни.

«Уважаемый г-н Такой-то!

Направляю Вам свой труд, обобщающий длительный личный опыт и наблюдения за жизнью удавов в условиях Парижа. Понимая, сколь велик поток произведений о подпольной деятельности, а также сколь неизбежно выжидание для зародышевого состояния, я вместе с тем довожу до Вашего сведения, что в случае неполучения ответа обращусь, согласно общепринятому порядку, в другое место. С уважением и т. д.»

Я намеренно выдержал письмо в сухом и категорическом тоне, чтобы они решили, будто у меня есть другие возможности, и всполошились. Причем не уточнил, что это за возможности, на деле, разумеется, отсутствующие, – так они представляются более обширными, практически беспредельными. Л поскольку беспредельные возможности – самое милое дело, я приободрился.

Как нетрудно заметить, в моем письме нет ни слова о женщинах, во избежание излишней откровенности.

Только я положил ручку, как раздался звонок. Я быстренько поправил перед зеркалом волосы и желтую в зеленый горошек «бабочку», как делал всегда, когда ошибались дверью. Но каково же было мое удивление, когда я увидел на пороге уборщика из управления и двух никогда ранее не попадавших в поле моего зрения молодых людей. Уборщик протянул мне руку:

– Привет. Мы проходили мимо и подумали: дай-ка зайдём посмотрим на хваленого удава. Можно?

Я возмущился до глубины души. Больше всего я дорожу своим правом на личную жизнь, никому не позволено вламываться ни с того ни с сего ко мне в дом. Частная жизнь святыня, именно ее лишили бедные китайцы. Мало ли чем я мог заниматься: может, смотрел телевизор, или размышлял, или изучал какое-либо из материальных проявлений свободы слова во Франции. Наконец, у меня могла быть мадемуазель Дрейфус, как она была бы шокирована, если бы кто-то с работы застал ее у меня и узнал о наших интимных отношениях! Негритянки особенно шепетильны в таких вопросах, учитывая их репутацию.

Я ничего не сказал, но комплекс мой разбушевался, хотя и без всякой причины, потому что, к счастью, мадемуазель Дрейфус у меня не было.

Парни вошли.

Я даже не успел снять со стены Жана Мулена и Пьера Броссолета. Как все люди, я не люблю, чтобы надо мной насмехались. И потом, кто хочет выжить в мегаполисе с населением свыше десяти миллионов человек – прошу прощения, что повторяюсь, я просто пытаюсь свыкнуться с фактом, – должен иметь что-нибудь сугубо личное: вещицы» тряпицы, коллекцию марок или хоть мечту, – пусть самую малость, но свое, капельку личной жизни. А больше всего я не хочу, чтобы кто-нибудь, – то есть кто ни будь! – увидев у меня на стене портреты двух настоящих людей, не подумал, что я одобряю сомнительную процедуру надувания через помпу, в просторечье называемую засорением мозгов и требующую регулярной прочистки. Если вовремя не прочистить, засор станет хроническим. Фашисты называли это «чистотой веры и идеалов», на деле же идеальная чистота оборачивается политическими нечистотами, а уж

те разливаются «пражскими веснами». Глядя на туго свернувшегося Голубчика, связавшего самого себя в пудовые узлы, я особенно ценю свободу и неприкосновенность моего «Я» и моего жилья. С другой стороны, меня никак не обвинишь в каком-либо умысле, поскольку, когда я зародился, оба героя Сопrotивления уже давно перекочевали в иной мир – тот, где живут все подлинно родившиеся.

Гости долго глазели на удава. Голубчик дрых в кресле, обмякший, как сдутая велосипедная камера. Он это обожает, а мускулы напрягает только по необходимости: когда надо извиваться, скручиваться, ползать.

– Что же, здорово, – съязвил уборщик, – есть кому о тебе позаботиться.

Я пропустил его слова мимо ушей. Ненавижу пикировки.

– А что он ест? – спросил один из его приятелей.

Этот вопрос я тоже ненавижу и тоже пропустил мимо ушей. Но он упрямо повторил:

– А что они все-таки едят, удавы-то?

– Хлеб, макароны, сыр и все такое прочее, – ответил я.

Мысль о заглатывании живых мышей и свинок мне претит, и я стараюсь упрятать ее подальше.

– Мы принесли тебе кое-что почитать, – сообщил уборщик.

И нате вам, парни вытаскивают из карманов брошюры и листовки.

Я набил трубку и задымил, как англичанин. Когда подступает комплекс, я стараюсь представить себя англичанином, невозмутимым и непрошибаемым.

– Рано или поздно ты влипнешь, – посулил уборщик. – Вот увидишь, узнает кто-нибудь из соседей и заявит в полицию или в санэпидслужбу.

– Я получил разрешение, – сказал я, – на содержание удава в домашних условиях. У меня все как положено.

– Не сомневаюсь, – сказал он. – «Все как положено» – таков ваш жизненный принцип.

Когда они наконец ушли, я подошел к питонцу и взял его на руки. Эх, Голубчик ты мой, трудно тебе в таком неприспособленном городе. Мы с ним сели на кровать и долго сидели в обнимку. Я словно услышал его ответ и чуть не расплакался за него, постольку поскольку он устроен нечеловечески и сам не может.

А один мой сослуживец ездил в отпуск в Тунис и вернулся загорелым дочерна.

Это я к тому, что замечаю и хорошее тоже.

Вечером я предпринял нечто из ряда вон выходящее, желая, как выражаются уборщики из статуправления, «развеемся». Пошел поужинать в ресторан «Каштаны» на улице Кав. За одним столиком со мной сидела пожилая пара. Мне, постороннему, они, естественно, не сказали ни слова – не принято. Им подали антрекот с жареным картофелем.

Сам не знаю, как у меня хватило дерзости на такое. Конечно, мне всегда хочется иметь с кем-то что-то общее – многолетний голод, хронический дефицит. Но есть внутренний контроль, не позволяющий неприличные выходки из себя на людях, иначе невозможно безнаказанно жить в мегаполисе. Однако иногда самоконтроль теряется.

Вот он у меня и потерялся.

Я протянул руку и взял ломтик картошки с их тарелки.

Подчеркиваю *их* ввиду беспрецедентности.

И съел.

Они ничего не сказали. Видимо, не заметили именно ввиду беспрецедентности и умпочивительности.

Я взял еще один ломтик. Слабость опять оказалась сильнее меня.

И еще.

Потом третий, четвертый.

Меня прошиб пот, но это было сильнее меня. Говорю же, слабость непреодолима.

Еще ломтик, запросто, по-свойски.

Подсознание зарвалось и понесло! Нечего сказать, развеялся. Расслабился.

Еще ломтик.

Дружеский штурм.

Что было дальше, не знаю, потому что пол у меня под ногами вдруг закачался, как при землетрясения, все вокруг заволочилось туманом, а когда я очнулся, все было по-прежнему. Ничего не случилось, ничего не изменилось. Передо мной стояла тарелка с артишоками, а пожилая пара лакомилась антрекотом с жареной картошкой.

Оказалось, инцидент не вышел за рамки подсознания. Попытка штурма потерпела неудачу, штурмующие вытеснили и скрутили сами себя, без ущерба для вражеской картошки. Я был во власти фантазия. Помню, в городе на всех стенках красовалось: «Власть – фантазерам!»* Стенкам что: они крепкие, на них еще и не такое пишут!

А я потерял сознание от ужаса. Но не упал, так что никто ничего не заметил. Повезло.

Однако идея, признаю без ложной скромности, была отличная, надо бы как-нибудь вернуть такую штучку.

До дому я дополз совершенно без сил и решил ознакомиться с литературой, которую оставили уборщики. Собственно, уборщиком был один, но это все равно. Итак, я осторожно просмотрел брошюры, газеты и листовки.

«Осторожно» не потому, что боялся общественноопасности, а потому, что я все делаю с осторожностью, такое у меня жизненное правило. Не найдя ничего, касающегося предмета данного исследования, я выкинул всю кучу в корзинку. А потом обвил плечи Голубчиком, и мы забылись, блаженно прикинув друг к другу. Как много людей скверно чувствуют себя в своей шкуре, а все потому, что она чужая.

*Лозунг бунтарей студентов в мае 1968 г.

Итак, мы с Голубчиком долго нежились в блаженном забытьи. Однако надо сказать, что вот уже десять месяцев я каждое утро езжу с мадемуазель Дрейфус в лифте, и, если умножить время каждого подъема на количество дней, получится изрядная цифра. У нас всего двенадцать этажей, и шутки ради я дал каждому имена: Бангкок, Сингапур, Гонконг и так далее, как будто мы с мадемуазель Дрейфус совершаем круиз, чем плохо! Однажды я даже попытался сострить – во мне есть что-то английское, я склонен к юмору. Кабина доехала до шестого – по моей карте это бирманский порт Мандалай, – и я сказал мадемуазель Дрейфус:

– Стоянки такие короткие, что не успеваешь осмотреть город.

Она не поняла – каждый ведь сходит с ума по-своему – и только удивленно на меня посмотрела. А я прибавил:

– Говорят, в Сингапуре много интересного. Там сохранились китайские стены.

Но мы уже добрались, и мадемуазель Дрейфус так и вышла в своей мини-юбке и в полном недоумении.

Я же весь день просидел в висельном настроении. Что, если все совсем не так, как мне представлялось? С чего я вообразил, будто свет сошелся клином на мне? Может, я совсем неверно толкую чувства мадемуазель Дрейфус? Может, она, цветная, сочувствует заброшенным злой судьбой в Париж одиноким пестрым удавам и снисходит ко мне только из жалости к ним? А мне ее жалости не надо, мне и своей хватает. Я маялся комплексом неполноценности. И полнейшей свободы, когда никто никому не обязан, никто никого не держит и не поддержит, полнейшей воли, когда один в поле, «и ответа и ни привет, связан свободой по рукам и ногам, невольник того, чего у тебя нету. Такая свобода возвращает вас в зачаточное состояние, погружает в собственное предвосхищение. Тут меня занесло в астрологию, и я подумал: как знать, может, наша планета населена двумя с половиной миллиардами астрологических знаков, в которых закодирована судьба другого, полнокровного человечества, живущего в другой галактике? И Жан Мулен с Пьером Броссолетом тоже были эдакими предопережениями, знаменательными преждеминованиями, депозитами в спермобанке, досрочно израсходованными в силу вкравшегося в систему человеческого фактора? Свобода – страшно тяжелая штука, без нее многое было бы объяснимо и извинимо. Тебе ее выдают, как в банке: получил и иди гуляй, а этого мало, надо, чтобы было еще что-нибудь, например любимое существо, – это я так, к слову, – чтоб не только от собственной воли зависеть. Я, конечно, против фашизма, но любовь – особое дело. В связи с этим повторю и, учтите, в последний раз, но прекратятся инсинуации, заговорю по-другому, так вот: я не собираюсь никого отпугивать Голубчиком, да и некого, никто ко мне в любимые существа не набивается. В тоталитарном государстве, по крайней мере, все ясно: нет свободы, значит, взятки гладки. А во Франции никакого тебе оправдания, то-то и скверно! Нет ничего подлее и мерзопакостнее страны, где все есть для счастья человека. То ли дело африканский голод или хотя бы хроническое недоедание, военная диктатура – вот это, я понимаю, оправдания, а сам ты ни при чем.

Я так разволновался, что дома вытащил из мусорной корзинки и перечел все брошюры и листовки, но не нашел ничего о себе лично – одна политика.

Похоже, аббат Жозеф прав: я действительно страдаю от избытка. Вернее, страдаю избытком. И по-моему, это всеобщая болезнь, весь мир страдает застоём любви, которую никак не может излить, и оттого изнемогает в ожесточении и конкуренции. В сердечных кладовых скрыты огромные эмоциональные ресурсы, плесневеющие и приходящие в негодность, залежавшаяся протухция, многовековые сбережения и отложения, сокровища чулок и кубышек. Они бродят, бурлят и не имеют иного выхода, кроме как через мочеполовые пути. Отсюда стагнация, инфляция и долларовая лихорадка.

И вот что я думаю: путешествуя вместе со мной и лифте, мадемуазель Дрейфус прекрасно понимает, что я страдаю от избытка, но робеет и не решается предложить помощь в силу своего происхождения. Великая страсть страшит малых мира сего. У нас в управлении есть одна секретарша, мадемуазель Кюкова, так над ней все смеются, потому что она каждые десять минут бежит в туалет. Должно быть, у нее очень маленький мочевой пузырек, совсем игрушечный.

Но я не теряю надежды. Женщину не может не привлечь молодой, прилично обеспеченный мужчина, который не побоялся связаться с двухметровой рептилией, холит ее, лелеет и кормит чем она пожелает. Женщина чувствует теплое местечко.

Не считая того раза, мадемуазель Дрейфус не обменялась со мной в лифте ни словечком. То ли чувствовала, что наши отношения становятся все серьезнее, то ли просто от застенчивости. Возможно, ее смущают разговоры об удавах, по ассоциации с черномазыми обезьянами. Я начинаю думать, что родился слишком поздно, чтобы найти применение братским чувствам. Упустил хорошие времена, когда евреев притесняли, негров считали неполноценными, а арабов вшивыми и было так великодушно относиться к ним как к равным, теперь же благородные порывы пропадают даром. Не придумаешь, как и проявить свое благородство. Вот если бы еще существовало рабство, я бы сразу женился на мадемуазель Дрейфус и почувствовал бы себя человеком. А так я это чувствую, только когда гуляю по городу с Голубчиком на плечах и слышу со всех сторон: «Какой ужас! Боже, ну и урод! Как власти терпят! С ума сойти! Эта тварь наверняка кусается, она опасная, ядовитая!» А я иду и в ус не дую, поглаживаю Голубчика и сияю: наконец-то я самовыражаюсь, утверждаюсь, проявляюсь, соприкасаюсь с внешним миром.

– Ишь распоясался!

– Носит на себе рассадник заразы! Вон у моей сестры была служанка-алжирка, и что вы думаете? Заразила глистами!

– Бедняга, наверно, у него никого нет.

Одного удава, конечно, мало. Но у меня есть еще мадемуазель Дрейфус в лифте. Между нами установилась тайная дружба. Мы скрываем свои чувства от постороннего взгляда, соблюдая деликатность и скромность. Она всю дорогу стоит опустив глаза, только подрагивает ресницами, пугливая и робкая, как газель, и каждая новая совместная поездка сближает нас и приближает долгожданный сладкий миг, когда осуществится равенство $2 = 1$.

Чтобы сделать решительный шаг, мне остается только преодолеть неоскудевающее чувство собственного недобытка. Будто меня еще нет. Вернее, что я пребываю в состоянии «пролога-мена». Очень точное слово, в нем слышится «пролог» к чему-то или кому-то, и это вселяет надежду. В таком состоянии чувствуешь себя только эскизом, черновиком, и, если оно на меня накатывает, я принимаюсь бегать кругами по своей двухкомнатушке и искать выход, причем самое досадное, что от дверей в этом случае никакого толку. Однажды во время такого приступа недорожденности я сочинил письмо профессору Лорта-Жакобу, которое привожу ниже.

«Уважаемый г-н профессор,

в подписанном Вами заявлении Национальной ассоциации врачей справедливо осуждается легализация абортот, а заведения, где производятся эти нарушающие права человека на свободу рождения операции, именуется “абортариями”. Позволю себе в частном порядке и строго конфиденциально сообщить Вам, что священное право на жизнь, которое Вы, вслед за кардиналом Марти, отстаиваете, предполагает еще и доступность зарождения, тогда как в обществе налицо полная и очевидная невозможность такового – обстоятельство, о котором Вы, по всей вероятности, не подозреваете, ибо не упоминаете о нем ни словом. В этой связи позволю себе обратить Ваше внимание на широко известное по слухам, хотя до сих пор замалчиваемое событие, случившееся в 1931 году. Я узнал о нем из некоей брошюры, купленной у букинистов на набережной, автора запомнил. Итак, как Вы, должно быть, слышали, в 1931 году в Париже произошло первое восстание сперматозоидов. Они тоже отстаивали священное право на жизнь, не желая больше мириться с тем, что их законные стремления попираются и они сами упираются в стенки презервативов и погибают от удушья. По решению предводителя все повстанцы вооружились топориками, чтобы, когда настанет час, разрушить резиновую преграду и проложить себе путь к появлению на свет. Час настал, и вот подхваченные лавиной сперматозоиды подняли топоры. Вождь первым пробил стенку узилища: вперед, к миру, к жизни, к заветной цели! За прорывом последовала внезапная тишина. А затем столпившиеся у бреши сперматозоиды услышали отчаянный вопль первопроходца: “Назад! Здесь дерьмо!”

С глубочайшим уважением и т. д.»

Письмо я не отослал. Испугался. Вдруг не получу ответа, а значит, оправдаются худшие мои подозрения: все всё знают и только делают вид полнейшей невинности. Я уж собрался написать самому кардиналу Марти, но тут мне стало совсем страшно: а ну как он врежет мне всю правду-матку, с него станется! Дескать, так и так, недородок ты, предзачаток и мочеполовой выскочка. Четко и ясно, как положено прелату-воину, с присовокуплением благочестивых утешений от имени святой церкви.

Дело в том, что от хронического ожидания и острого сумбура у меня развилась тоска по предметам первой необходимости: красным огнетушителям, лестницам, пылесосам, гаечным ключам, штопорам и солнечным лучам. Таков побочный эффект моего состояния непроявленной, недодержанной пленки. А еще, как заметил читатель, мне не хватает вех и указателей.

Опустив адресованное Ассоциации врачей письмо в корзинку, я подумал: не написать ли еще и в Лигу защиты прав человека? То-то был бы удачный ход, сразу запечатлеешься. А если вдобавок с извещением о вручении, так и вещественное доказательство получишь!

Я уже потянулся к ручке, но тут вдруг уровень жизни французов подскочил мне в утешение на десять процентов по отношению к историческому прошлому и на семь – по отношению к номинальному доходу. Сорвавшись с радиоуст, эти проценты запали мне в душу. Цифры – вещь неопровержимая. А я очень впечатлителен и почувствовал резкое улучшение жизни – на десять процентов и на семь. Я выглянул в окно: прохожие на улице явно приободрились. В приливе благосостояния я подхватил Голубчика и, напевая, затанцевал с ним в паре. Десять и семь процентов – колоссальный прирост. Коммунисты небось рвут на себе волосы. Никогда не любил коммунистов. Я за свободу.

Пора, однако, кончать с этим затянувшимся узлом повествования, а то как бы не порвалась пить. Сослуживцы знают, что у меня есть только удав. И дают советы кто во что горазд. Одна дама из отдела документации даже предложила мне записаться в клуб дружеских встреч. Она сама ходит туда два раза в неделю, как она выразилась, на «грубовую терапию».

– Каждый рассказывает о своих проблемах, раскрепощается, мы их обсуждаем все вместе и стараемся не то чтобы разрешить – общества без проблем не бывает, – но научиться жить с ними, терпеть их, встречать, если хотите, с улыбкой. Словом, абстрагироваться.

Не представляю, как Голубчик мог бы абстрагироваться от своей проблемы, но я сказал, что подумаю.

А этот проклятуший уборщик надоел мне больше всех, я то и дело натыкался в коридоре и на лестнице на его плакатные усищи – дорогу французскому пролетарию! Он ничего не говорит, но его намекающе-призывный взгляд красноречивее всяких слов. А того не понимает, что сегодня двадцатипятилетний парень с закидонами в духе «старой доброй Франции» просто смешон. Клетчатая клеенка, дешевое красное вино, вельветовая куртка и подпольная типография – это вчерашний день, сегодня в «Самаритен»* все для всех. Самодельные бомбы никому не нужны.

И, черт побери, я невольно поддаюсь его взгляду. Черные глазищи так тебя и пронзают. Не знай я, что у него карманы полны политической дребедени, я бы ему поверил. Кретины всегда пышут несокрушимой надеждой. Наконец однажды я не выдержал:

– Послушайте, хватит, меня не убедишь, можешь не стараться.

– Я же ничего не сказал.

– Это все равно. Пойми, у вас ничего не выйдет. Нужна биологическая мутация. А от линьки никакого толку, все остается по-прежнему и даже становится прочнее.

– А как насчет Лурда?*** Не пробовал?

Я оторопел. Откуда он знает?

Действительно, пробовал. Как-то в пятницу мы с удавом отправились в Лурд. Голубчик ехал в специальной коробке с дырками, чтобы было чем дышать, а там, на месте, я обмотал его вокруг пояса под пальто. Мы пробыли в гроте целый час, потом я снял номер в гостинице, разложил Голубчика на кровати и стал ждать. И ничего. Как обычно, он свернулся узлами и

* «Самаритен» – крупный универмаг в Париже.

** Лурд – городок в Пиренеях на юге Франции, место паломничества к чудотворному источнику.

кольцами. Я подождал часок-другой, сделав скидку на его размеры. И опять ничего, ни намек на желаемый результат. Голубчик как Голубчик, все до последней чешуйки на месте, удавом был – удавом и остался. Даже полинять лишний раз не сподобился. Я ничего не говорю – может, для нормальных случаев Лурд эффективен, для всяких там калек, паралитиков и прочих отклонений, узаконенных Ассоциацией врачей и соцобеспечением. Ясно одно: против природы он не помогает.

Разумеется, уборщику я ничего этого рассказывать не стал. Люди вроде него не верят, что нет пределов невозможного. Не удивлюсь, если он в невозможное вообще не верит.

– В активные действия ты не веришь, так, может, веришь в чудеса? – спросил он.

– Мои убеждения вас не касаются, – сказал я с достоинством. – Мне даром не нужен ваш Китай. У них там нет свободы.

Тут он побелел. Наверно, я угодил ему по больному месту. И процедил сквозь зубы:

– Держите меня! Это он-то. . . Он будет толковать о свободе. Ну, я молчу!

Не договорив, уборщик пошел своей дорогой. Я же вернулся домой и очень долго и беспричинно комплексовал. А комплекс неопределенной неполноценности есть наиболее глубокое, основательное и единственно реальное ощущение, доступное несовершеннорожденным. Ибо он коренится в самой сути дела.

К сведению грамотных любителей, все еще сомневающих, стоит ли заводить удава, сообщая: проблемы некоммуникабельности у нас с Голубчиком не существует. Когда мы вместе, нам нет нужды лгать или выяснять отношения.

Наше молчание означает счастье. Ведь настоящее, полное, непритворное взаимопонимание и выражается только молчанием. Ну а тем, у кого не столь высокие запросы, кто жаждет получить отклик извне в форме устного диалога, советую обратиться к господину Паризи, улица Подкидышей, 20-бис, четвертый этаж, налево.

Четыре года назад я сам обратился к его услугам, случилось это еще до откровения, то есть до того, как в мою жизнь вошел Голубчик. Вернее, он у меня уже был, но не занимал такого места. К тому времени я уже обзавелся двухкомнатной и устроился в ней со всей мебелью и прочими вещами, они для меня все равно что родня. Особенно мне симпатично кресло: вальяжная особа в английском твиде непринужденно покуривает трубочку и похожа на путешественника только что из дальних краев, которому есть что порассказать. Я всегда выбирал кресла английского происхождения. Англичане – заядлые землепроходцы. Большое удовольствие посидеть напротив кресла на кровати и выпить чашечку кофе, наслаждаясь приятным обществом. Кресло – это нечто уютное, спокойное, чуждое суеты. Недурна и кровать: если потесниться, на ней хватит места для двоих.

Выбор кровати всегда давался мне с трудом. Узкие односпальные, грубо говоря, плюют вам в душу, сводят на нет все усилия вашего воображения. Односпальная кровать – откровенная, безжалостная единица. «Ты, приятель, безнадежный бобыль, сиди и не рыпайся». Поэтому я предпочитаю двуспальные, они открыты в будущее, но тут дилемма поворачивается другой стороной. К слову сказать, все дилеммы имеют пакостный характер, мне, например, ни одной приличной не попадалось. Когда каждый вечер и целую субботу с воскресеньем видишь перед собой двуспальную кровать, одиночество еще нестерпимей, чем в односпальной, – та, по крайней мере, сама служит ему оправданием. Начинаешь понимать всю меру одиночества африканского питона в Большом Париже, и эта мера все растет и растет. Один в двуспальной кровати, хоть и обвитый удавом, ты обречен на комплекс неполноценности, пусть даже с улицы доносятся успокоительные sireны полицейских и пожарных машин, карет «скорой» и «неотложной помощи», создающие иллюзию, будто о тебе кто-то заботится. Одинокий человек, затерянный под крышами Парижа, это, что называется, социальное обезцвечение. Бывало, если становилось совсем невмоготу, я вставал, одевался, вдевал руки в рукава закадычного пальто и выходил побродить по улицам, выискивая влюбленные парочки в подворотнях. Монпарнасскую башню тогда еще не построили.

В конце концов я купил двуспальную, имея в виду мадемуазель Дрейфус.

Собственно говоря, живительная идея была не моя, меня натолкнуло на нее французское правительство, которое в то время много говорило о «культурном оживлении». Со всех сторон только и слышно было: «возрождение», «оживление»; повсюду создавались «очаги культурной жизни». Это и подсказало мне мысль заставить предметы обихода, мебель и самого Голубчика культурно заговорить человеческим голосом.

Случалось мне, конечно, и раньше, вернувшись с работы, вслух обратиться к креслу, кофейнику или трубке, но так делают многие, просто для поддержания душевного равновесия. Можно взывать к вселенной, к мировому эфиру или к домашним тапочкам – кому что нравится, – но ответа не дождешься. Нет даже резонанса, звук тонет в глухоте. А ответ нужен. Нужен диалог. Вот тут-то и приходит черед «культурного оживления».

Господин Паризи жил на улице Монж, пятый этаж направо. Я узнал о нем через газету «Собеседник», известную поощрением искусства диалога, игры вопросов и ответов. Однажды

я послал туда письмо:

«Уважаемый главный редактор!

Следуя Вашим советам – ответам на письма читателей, я решил украшать и совершенствовать свой внутренний мир. Согласно Вашим рекомендациям, собрал вокруг себя немногочисленные, но дорогие мне предметы мебели и прочие детали интерьера, чтобы чувствовать себя легко и свободно. Однако признаюсь Вам: мне не очень понятен сам смысл этого выражения, поскольку я вообще не чувствую себя или если чувствую, то не собой, а кем-то другим, кого тоже, как и меня, нет на свете, причем это взаимное отсутствие, с одной стороны, сближает нас, с другой – препятствует общению. Вполне очевидно, что разрешить это противоречие или, как говорится, «развязать этот узел» можно только одним способом: чтобы почувствовать себя кем-то, надо сначала почувствовать кого-то другого. Вот почему я обращаюсь к Вам за помощью: скажите, какие существуют средства общения и диалога.

С уважением. . . »

В следующем номере я получил ответ. Мне советовали обратиться к господину Паризи, который «специализируется в этой области». Газета превозносила диалог и его благотворное действие на психику и сообщала, что господин Паризи – чревовещатель, в совершенстве владеющий искусством самоубеждения, диалога с самим собой, с ближайшим окружением и даже, при необходимости, со всей вселенной. Овладеть же этим искусством не так сложно при некотором упорстве и терпении. Тут же следовал перечень великих поэтов, мыслителей и творцов, вступивших подобным образом в диалог с миром и получивших ответы огромной художественной ценности. Среди них Мальро, Ницше, Камю и множество других.

Господин Паризи – пожилой, за семьдесят, итальянец, с крупным носом и седой гривой; в прошлом он с успехом выступал на эстраде, теперь покинул ее и дает частные уроки желающим научиться беседе с собой и извлечению из себя ответов. Взгляд у него острый, живой, вид весьма внушительный. Вообще он выглядит несреднестатистически, оно и неудивительно: когда он родился, ничего статистического еще не было. Можете мне не верить, но в 1812 году население Франции исчислялось не более чем двадцатью миллионами и она была первой державой в мире, теперь же в ней живут пятьдесят миллионов и дела идут не так чтобы очень.

Движения у господина Паризи эффектные, словно у фокусника, вытягивающего предметы из пустоты; кажется, сейчас он отдернет занавес, и обнаружится нечто. Но он этого не делает – пусть мерцает Надежда. Он носит длинный плащ, пышный бант на шее, очки в темной черепаховой оправе, опирается на тросточку, которой размахивает в пылу красноречия.

Едва открыв мне дверь, господин Паризи с ходу обрушил на меня все великолепие своего искусства. Самые разнообразные звуки раздавались со всех сторон и наполняли комнату у него за спиной: вой гиен, птичий хохот, воркование голубей, любовный шепот и задыхающийся в экстазе женский голос: «Кайф, о-о, кайф!», ослиный рев и студенческий хай.

– Это чтобы вы сразу поняли, что не ошиблись этажом, – пожимая мне руку, сказал господин Паризи с сильным итальянским акцентом.

Господин Паризи – чревовещатель высшего класса. Уйдя со сцены, он посвятил себя, из любви к ближним и ради блага общества, преподаванию диалогического искусства, то есть стал учить людей формулировать вопросы и получать ответы вместе с душевным успокоением, – так он сам мне объяснил.

Мы прошли в опрятную гостиную, и господин Паризи тотчас сымитировал телефонный звонок.

– Вам звонят, – сказал он. – Снимите трубку.

– Но...

– Ну же, друг мой, отвечайте!

Я с опаской снял трубку:

– Алло?

– Милый, ты? – произнес женский голос. – Любимый мой! Ты думал обо мне хоть немного?

Меня мороз пробрал по коже. Это не мог быть господин Паризи. Он стоял на другом конце комнаты, да и голос был явно женский, более того – женственный...

– Ты думал, думал обо мне, милый?

Я молчал. Конечно, думал. Только и делал, что думал о ней.

– Знаешь, мне так плохо без тебя...

Нежный, еле слышный шепот. Просто чудо, до чего чувствителен аппарат.

– Утешьте ее, – сказал господин Паризи. – Я чувствую, она встревожена, боится потерять вас...

Что ж, теперь или никогда.

– Люблю тебя, – выговорил я, не помня себя.

– Слабовато, – деловым тоном сказал господин Паризи. – Надо сильнее. Смотрите.

Он приложил ладонь к животу:

– Это должно исходить вот отсюда, из нутра.

– Люблю тебя! – вскричал я во всю силу своего нутра и страха.

– Не надо кричать, – снова поправил меня господин Паризи. – Дело в силе веры. Вы должны уверовать в то, что произносите. В этом вся соль. Ну-ка, еще раз.

– Я люблю тебя, – с жаром сказал я телефону. – Если б ты знала, как мне без тебя трудно. Как давно я жду, а на линии – пустота. . . Все копилось внутри. И набралось так много, даже слишком – избыточные ресурсы. . . страшно подумать. . . и все для тебя. . .

Я изливался в телефон добрых пять минут, а когда умолк, в трубке послышался вздох, звук поцелуя – и гудки.

Нас снова было двое: господин Паризи и я. У меня дрожали колени – я не привык к таким упражнениям.

Господин Паризи глядел на меня ободряюще.

– У вас прекрасные задатки, – сказал он. – Конечно, вы еще не очень уверены в себе. Надо тренировать воображение, если хотите насладиться его плодами. Любовь требует контакта, она не может быть безответной, вы постоянно должны, так сказать, поддерживать переписку. Любовь – едва ли не лучшая форма диалога, изобретенная человеком, чтобы отвечать самому себе взаимностью. И именно чрево вещание призвано сыграть огромную роль. Великие чрево вещатели – прежде всего освободители, они позволяют нам вырваться из одиночного заключения и ощутить родство с миром. Мы можем заставить говорить даже мертвую материю, даже пустоту и безмолвие – вот величайшее достижение культуры. Путь к свободе. Я даю уроки в тюрьме Френ, учу заключенных беседовать с решетками, стенами, наделять человеческим голосом все вокруг. Кажется, Фил О’Локк предложил единственно возможное определение человека: человек – это волеизъявление; а я добавлю: это изъявление, изъятое из контекста. Мне приходится принимать множество душевнонемых, их внутренняя немота – результат причин внешних, виноват контекст, и я помогаю им освободиться от него. Все мои клиенты стыдливо прячут тайный голос, потому что знают, что общество защищается. Например, закрывает бордели, чтобы закрыть глаза. Это называется нравственность, добродетель, ликвидация проституции мочеполовых путей, во имя того чтобы проституция высшего порядка, которая торгует не плотью, а принципами, идеями, такими ценностями, как парламент, честь, вера, народ, могла и дальше развиваться легальными путями. Рано или поздно становится невтерпеж, вы понимаете, что вам как воздух нужны правда, искренность, нужно задать вопросы и получить на них ответы, – короче говоря, нужно общение, причем общение глобальное, со всем, что есть на белом свете; и вот тогда на помощь приходит искусство. В игру вступает чрево вещатель, и мир становится вполне сносным. Моя деятельность признана полезной для общества самим господином Марселеном, бывшим министром внутренних дел, а также господином Дрюоном, бывшим министром культуры; у меня есть разрешение на практику от Ассоциации врачей, потому что мой метод совершенно безвреден. Ничего не меняется, но человеку становится лучше. Вы ведь, конечно, живете один?

Я ответил, что у меня есть удав.

– Да, – сказал господин Паризи, расхаживая по своей чистенькой, с натертым до блеска полом гостиной, – Париж – очень большой город.

Я забыл сказать, а надо бы для полноты картины – любая мелочь может иметь свой скрытый, неведомый смысл применительно к Надежде, – что господин Паризи носил длинный шарф из белого шелка и шляпу, с которой не расставался даже дома в знак своей независимости и нежелания ни перед кем и ни перед чем склонять и обнажать голову. Я думаю, он не снимал шляпы перед нынешним миропорядком, потому что ждал иного, который бы того стоил (см. Буржо, «Непочтительность, или Позиция стоячего выжидания» – монография по этнологии в трех томах, правда, уже распроданная, что неудивительно – книга с таким названием долго не пролежит!).

– Я беру двадцать франков за урок. Занятия групповые. . .

– О нет!

Меня отпугнула мысль, что надо платить за кого-то, – за деньги я и так кого-нибудь найду.

– Не беспокойтесь, все остальные – такие же инвалиды войны. . .

– Какой войны?

– Просто к слову пришлось. Когда говорят «инвалид», обычно думают о войне, хотя на самом деле можно прекрасно обойтись и без нее. Я не могу заниматься с вами индивидуально, коллектив необходим, чтобы дело сдвинулось с места и для поддержания духа. Это входит в курс лечения упомянутого недостатка.

– Но мне не надо лечиться от недостатка. У меня, наоборот, избыток.

– Доверьтесь мне, и гарантирую: через пару месяцев ваша змея заговорит.

– Не змея, а удав, – поправил я.

– А разве удав не змея?

Не люблю, когда все валят в одну кучу и когда Голубчика обзывают змеей.

– Слово «змея» имеет у нас уничижительный оттенок, – сказал я.

– «У нас»? – переспросил господин Паризи и внимательно на меня посмотрел. Взглядом многоопытного, искушенного в людях итальянца. Таким взглядом вас обволакивают, чтобы легче проглотить. – Так-так. . . Понимаю. Все мы мучаемся поисками себя. Каждый ищет где может. Там и здесь, тут и там. Есть такая неаполитанская песенка: «. . . тут и там, трам-пам-пам». Это только перевод, в подлиннике, разумеется, не в пример сильнее. Приходится идти непроторенными тропами, а там, бывает, найдешь себя в таком виде, который трудно сопоставим с человеческим.

Он заскользил зигзагами по натертому паркету, высоко держа голову в неснимаемой из гордости шляпе – ни перед кем и ни перед чем. Движения его были легки – сказывалась не утраченная с возрастом итальянская изворотливость. Он явно начинал мне нравиться.

– Так приходите, если хотите, завтра.

На другой день господин Паризи представил меня остальным ученикам. Сказать по совести, для меня знакомство с ними было малоприятным, я держался холодно, чуть ли не враждебно: наверняка они воображали, что меня привело сюда одиночество и мне, как им самим, не с кем поговорить. Но у меня есть мадемуазель Дрейфус, и если у нас не все еще окончательно решено, то только потому, что мы хотим получше узнать друг друга. И потом, чернокожая мадемуазель Дрейфус нежна и пуглива, как газель. А в кабине всегда посторонние.

Вот если бы в один прекрасный день лифт сломался.

Однажды мне так и приснилось: как будто он застрял между этажами и его никак не починят. И все бы превосходно, но, на беду, мадемуазель Дрейфус в тот раз в лифте не было. Я был совсем один, висел между этажами и не мог выбраться – типичный кошмар. Я нажимал на кнопки «вызов» и «тревога», но никто не отзывался. Проснувшись в смятении, я взял на колени Голубчика, а он поднял голову и посмотрел на меня с изумительным безучастием, какое всегда проявлял в минуты моих эмоциональных травм, чтобы вернуть мне покой. Всем своим непоколебимо безразличным видом он словно внушал мне, что он здесь, рядом, никуда не делся и все идет как обычно.

Одного из учеников звали Дюнуайе-Дюшен, он был владельцем продуктовой лавки и получал сливочное масло прямо из Нормандии, о чем и сообщил мне с первой же минуты, как бы предупреждая всякие недоразумения. Подал мне руку и, глядя в глаза, выпалил: «Дюнуайе-Дюшен. Получаю сливочное масло прямо из Нормандии». Я так и не понял его пафоса, хотя думал об этом несколько дней. Может быть, он масон? Кажется, у масонов есть какие-то тайные знания, которые они передают друг другу с помощью общих для всего братства знаков и иносказаний. Или наоборот: ему нечем выделиться из общей массы, а хочется внушить, что и он чего-то стоит. Наконец, бывают же очень скованные люди. Я постарался приободрить его:

– Кузен. Держу удава.

Часто случайные встречные, например соседи по купе, ни с того ни с сего исповедуются друг другу. Кого не знаешь, того не боишься.

Другого звали Бурак, он работал зубным врачом, но мечтал быть дирижером. Он поведал мне об этом, едва я опустился на стул рядом с ним и мы обменялись рукопожатиями. Господин Паризи, безостановочно расхаживая, не спускал с него глаз.

– Бурак. Поляк. Зубной врач, мечтаю быть дирижером.

Я еще не успел прийти в себя после нормандского масла и тут споткнулся вторично. Что ж, в бедственные времена некоторые пытаются предельным доверием завоевать дружбу окружающих. Такой психологический прием. По-моему, я не обманул ожиданий этого человека, тем более что я его отлично понимал. Я тоже мечтаю быть не тем, что есть, чтобы стать собой. Мало ли, может, он слышит внутренним слухом потрясающую музыку, целый оркестр со скрипками, литаврами и фанфарами, и хочет, чтобы ее услышали все, хочет поделиться, но для этого нужна публика в зрительном зале, чуткие уши и тонкие души, а люди не любят напрягаться, кому это надо разводить катавасию, наряжаться ради какого-то концерта. У каждого свои концерты. Между тем внутренняя музыка, не имея выхода наружу, расстраивается и превращается в адский грохот – оглохнуть можно. И вот мою руку пожимает высокий лысый, носатый и усатый человек, по жизни зубной врач, в душе дирижер, лет шестидесяти с гаком, что немало и для зубного врача, а для дирижера – тем более.

– Бурак, поляк. Зубной врач, мечтаю быть дирижером.

– Понимаю вас как нельзя лучше, – сказал я в ответ. – Я сам всю жизнь хожу к проституткам.

Бурак отдернул руку и посмотрел на меня с таким выражением, словно... в общем, с непередаваемым выражением. И отодвинул свой стул в сторонку. А я ведь только хотел сказать, что тоже мечтаю быть.

Если вдуматься, слово «взаимоотношения» вполне отражает горькую истину: как люди ни стараются, их все дальше и дальше относит друг от друга.

Я даже заглянул в словарь, но там сплошные опечатки, они, верно, заложены в набор: куда ни глянь – везде ложь. Например, «быть» объясняется как «существовать». Словарям нельзя доверять, они скроены по шаблону. Как готовое платье – по пропорциям среднестатистического потребителя. Если же эти пропорции нарушить, то станет очевидно, что «быть» означает «быть любимым». Это синонимы. О чем составители умалчивают. Я посмотрел «рождение» – та же фигура умолчания.

Читатель удивится, если я скажу, что Кордильеры, или Анды, должно быть, весьма живописны. Но я все равно скажу, без всякой связи с предметом повествования, чтобы доказать, что я ничем не связан. Я свободен и ставлю свободу превыше всего.

Сегодня знаменательный день: Голубчик приступил к очередной линьке.

В жизни удавов это – событие, проникнутое величайшим оптимизмом, Пасха, Йом Кипур, Надежда, Обетование. Основанные на длительном наблюдении знания дают мне право утверждать, что линька – время наибольшего эмоционального подъема у пресмыкающихся, канун и канон обновления. Расцвет гуманистического начала. Исследователям этих интереснейших животных (достаточно сослаться на авторитет Грюнтага и Куница) хорошо известно, что каждая линька оживляет в их груди стремление шагнуть вверх по лестнице эволюции, изменить свой вид на более высокоорганизованный.

Но в итоге они всегда возвращаются к прежнему состоянию или, точнее, положению. Таким образом, прогресс в среде удавов носит характер замкнутого цикла с повторным использованием побочных продуктов линьки в целях экономии ресурсов и полной занятости.

Пока Голубчик линял, я пропустил два занятия, сидел с ним рядом и морально поддерживал. В фигуральном смысле держал его за руку. Конечно, я знал, что все кончится обычной перемоткой, но так уж принято: например, когда женщина собирается рожать, а виновник ожидающегося события держит ее за руку, его долг – выказывать твердую надежду.

Не скрою, иной раз в ходе линьки я сам раздеваюсь и осматриваю себя с ног до головы. И однажды утром нашел-таки на ноге какое-то красное пятнышко; правда, оно скоро исчезло.

В нашей группе был еще некий Ашиль Дюр, господин лет пятидесяти, высокий, но сутулый, в развернутом виде в нем было бы метр восемьдесят с лишним. По его словам, он двадцать лет подряд служил в «Самаритен» заведующим секцией, а потом перешел в «Дешевые товары». О причинах я не спрашивал, уважая свободу совести, но он явно гордился своим поступком, и действительно, требуется немалая решимость, чтобы круто переменить жизнь в возрасте, когда другие помыслить не смеют ни о чем подобном. Мы пожали друг другу руки и сейчас же обнаружили, что нам обоим совершенно не о чем говорить. А это ли не залог дружеского взаимопонимания?

Каждый, кого интересуют вопросы культурного оживления среды, знает, в чем состоят учебные упражнения: мы говорили за куклу, которую господин Паризи помещал все дальше и дальше от нас, правее и левее, выше и ниже, добиваясь, чтобы мы не только оживляли ее, вкладывая в нее свой голос, но еще и полностью открывались, выкладывались, изливали внутреннюю суть и муть через полость рта. Мы должны были проецировать свой голос наружу, как будто он звучит извне и нам же отвечает. Ибо искусство в том и заключается, чтобы, так сказать, заставить Сфинкса давать ответы.

Разговаривали мы через манекен в человеческий рост, один из тех, которыми господин Паризи пользовался когда-то на сцене. Вид у него был крайне высокомерный и самодовольный. Самый что ни на есть бездушный вид, так что получалось очень впечатляюще и жизненно. Для пушшего эффекта господин Паризи еще засовывал ему в рот сигару. Одет наш болван был в смокинг, как будто каждый день ходил на приемы. Мы, ученики, сидели полукругом на некотором расстоянии от манекена и, чтобы получался диалог, должны были, естественно, говорить и за себя, и за него. Как помнит читатель, в начале было Слово, что служит всем нам вдохновляющим примером. Для правдоподобия ответы собеседника надо было произносить не своим голосом, на этом господин Паризи настаивал особо.

– Запомните, господа, – говорил он, – искусство чревоуверения, да и вообще Искусство в конечном счете сводится к умению вызвать ответную реакцию. Строго говоря, это и есть творчество. Вы должны наладить каналы связи, чтобы, перекачав по ним сырой материал, получить обратно конечный продукт – таким образом, вы сотворите себя.

Седая шевелюра, черепаховые очки – наш наставник расхаживал по блестящему полу

своей стерильной гостиной и вещал:

– Взгляните. Это ничто. Кукла, манекен с гримасой скептика или даже циника. Неодушевленный, застывший предмет. И его-то, господа, вы заставите говорить по-человечески. Больше того, вы вложите в его уста слова любви и участия. Вы сами, своими силами, не нажимая ни на какую потайную кнопку. А потом мы перейдем к этой цветочной вазе, столу, занавескам. Шаг за шагом вы наберетесь опыта, сноровки, одушевите весь мир. И дружеские голоса будут сопутствовать вам повсюду. В результате вы сможете, оставаясь одинокими и довольствуясь, как прежде, самими собой, наслаждаться жизнью и иметь все, что пожелаете. Это куда проще и вернее, чем гоняться за химерой и нарываться на беды, несчастья и разочарования. Месье Бурак, прошу вас.

Поляк вспыхнул.

– На что ты потратил свою жизнь, Бурак? – спросила кукла. – На ковыряние в зубах, вот на что!

– Я уже говорил вам, месье Бурак, что упражнение заключается в том, чтобы удалиться от самого себя на пять метров и войти в другой объект. Вы не получите приятного, доброжелательного, мудрого и милосердного окружения посторонних, если замкнетесь в себе. Избегайте варки в собственном соку, господа, – таково общее правило. Приучайтесь с самого начала вариться в чужом – это менее болезненно. Пока вокруг вас миллионы чужих людей, вы обречены на одиночество. Но стоит подумать о них и об их трудностях – и свои станут легче. Беды ближнего облегчают нам жизнь.

Само собой, все это говорилось через манекен, который с циничной ухмылкой цедил слова и жевал сигару. Мы покатывались со смеху. Все высокое следует несколько снижать – это тоже важное правило. Снижение, подгонка всех вещей по человеческой мерке есть основа стоицизма, иначе тебе не по себе и мир не по тебе.

– Вспомните: «Кто не сбережет сам себя, тот кончит дин на складе потерянных вещей». Так говорил великий О’Хиггинс, который мог вселить в пустой собор полсотни голосов и трагически погиб, потеряв свой собственный.

Напоминаю, если кто запомнил: господин Паризи всегда носил на шее длинный белый шелковый шарф, чтобы движения адамова яблока не выдавали его, когда он чрево вещает, и даже дома не снимал шляпы с высоко поднятой головы, чтобы подчеркнуть, что не склоняется ни перед кем и ни перед чем.

Я не сразу разобрался, что газета «Собеседник» неверно поняла мое письмо и направила меня к господину Паризи ошибочно. Ведь его методика призвана помогать людям завязывать дружбу сначала с туфлями, стульями и прочими обиходными предметами, а потом с другими, более сложными и более отдаленными. Но мне нужно не это. Если я и хотел сделать Голубчика говорящим, то только потому, что иногда заговаривал с ним сам и было бы куда веселее поболтать вдвоем. Но я вовсе не думал, что мой удав вдруг всерьез обретет человеческий голос, я имел в виду условную беседу, обыкновенную игру. Этакую оживленную разрядку. Как только я понял, что господин Паризи трудится в системе социальной защиты – недаром его метод признан полезным для общества, в Большом Париже у него обширная практика, особенно среди лиц женского пола, – я перестал посещать занятия. Мне не нужно нянек. Просто хотелось поговорить с удавом, разыграть Голубчика.

Один мой знакомый по «Рамзесу», господин Жобер, как-то за стаканчиком рассказал мне о своем психоаналитике. Вот действительно стоящее изобретение.

– Понимаете, он обязан вас выслушать, он за это получает деньги. Усаживаете его в кресло, заставляете взять карандаш с блокнотом и записывать каждое ваше слово. Он на то и существует, что интересуется вами, такова его роль в обществе потребления.

Поначалу я не пропускал ни одного занятия и кое-чему научился: например, обставлял свои поездки в метро приятными, вежливыми репликами соседей.

– Месье Дюр, ваша очередь. Расскажите нам, для чего вы хотите стать чревовещателем.

– Для того, чтобы обратить на себя внимание, выделиться. В «Дешевых товарах» мимо меня каждый день проходит человек с тысячу, не меньше. Всем чего-то не хватает, и все хватают вещи. За год набирается тысяч триста, за восемь лет – чуть не десять миллионов, и все мимо. . . Продавцов – тех хоть замечают, к ним обращаются, что-то спрашивают, какое-никакое, а общение, ну, а на моем месте. . . За двадцать пять лет, что я прослужил в «Самаритен», мимо меня, считай, прошло все население Франции, да не один раз. Кажется, мог бы хоть кто-нибудь. . . Нет. Никто.

– Неужели? – подала голос кукла.

– Ни один человек.

– Нехило. А если самому дернуть кого-нибудь за рукав?

– И что сказать? О таких вещах не говорят.

– Вся беда от общества потребления, – вмешался я. – Всеобщее процветание. Всеобщая занятость.

– К. . . как это – всеобщая занятость? – спросил манекен, поперхнувшись от волнения первым словом.

– Всеобщая занятость – это всеобщая занятость, каждый занят, вот и все.

Я хотел изобразить смех, но выдохся, и манекен захрипел как удушенный.

– Больше силы! – командовал господин Паризи. – Выкладывайтесь до конца! Все наружу! Нутром, и как можно сильнее! Выкладывайте все, не беда, если и с кровью. Там, в глубине, ваш настоящий голос. Заперт внутри, в чреве. В горле не то, один пустой звук. Пусть говорят потроха. . . Изливайтесь, извергайтесь! Это главное. Излияние – залог жизни. Внутри все накапливается, застаивается, гнивет, нарывает и убивает. Жмите во весь дух! И не бойтесь быть смешными. Смеяться будут над куклой, она на то и посажена. Начали!

– А если б мог, я бы сказал, – снова заговорил манекен, – жизнь невыносима, когда у тебя нет никого и ничего. Когда некому тебя любить. . .

– Вы пошевелили губами, месье Дюр, но это не беда. Продолжайте.

– . . . невыносимо, тяжело. Хоть бы одна живая душа поддержала.

– Перегрузка, – сказал я, – перегрузка центральных магистралей в час пик – типичная проблема мегаполиса. Слишком оживленное движение ведет к смертельному исходу, нужны кружные пути.

– Вот-вот, у нас в «Дешевых товарах» голова так и идет кругом, поток барахла выходит из-под контроля. Живой поток – не уследишь.

– Зато товары эмоционального потребления залеживаются, – сказал манекен, – не имея хождения на внутреннем рынке. Лежат на душе тяжелым грузом, образуют заторы. Как тут не взорваться? Есть, конечно, некоторый культурный выхлоп, но одним телевидением не обойтись. Всему есть предел. . .

– Отлично, месье Кузен, обнаруживайте все, что у вас там есть. И вы, месье Дюр, тоже продолжайте.

– В «Самаритен». . .

– В «Самаритен» все для всех! – выдала кукла жизнерадостным тоном французского потребителя с политическим оттенком – не без тяги к объединенной Европе.

– Живой поток – распродажа-самообслуживание, заговорил Дюр, – завалены все прилавки. А вечером я, как все, еду домой на метро, без четверти семь, в самый час пик. Нигде так не

почувствуешь эту, как вы говорите, полную занятость, как в вагоне метро или пригородной электричке в час пик.

– В силу тех же причин, из-за демографического потопа, я и держу удава. А вспомнил я о нем, потому что месье Дюр заговорил о метро и электричке. Он все очень верно сказал. Так вот, удав – это та самая живая душа, которая ждет вас вечером дома и может поддерживать вас сколько угодно.

– Прекрасно, месье Кузен, – сказал господин Паризи. – Не стесняйтесь обнаружить своего удава.

– Я долго терпел, – продолжал Дюр, – держался, пока была надежда, но теперь мне пятьдесят семь лет, из которых сорок поглотила полная – через край! – занятость. . .

– Превосходно, господа, – похвалил господин Паризи. – Вы делаете успехи. Теперь вы, месье Бурак. Нон там, слева от вас, стоит пепельница. Оживите-ка ее, помогите ей высказаться.

– Не понимаю, при чем тут я, – промолвила пепельница.

– Вот и мы ни при чем, – ответил Бурак и покраснел от удовольствия: ему удалось разговаривать пепельницу, не разжимая губ.

– Вы нам больше ничего не скажете, месье Кузен?

– Людям не хватает святого эгоизма. Например, есть у меня один знакомый, некий Жалько, мы иногда встречаемся в кафе. Разговаривать не разговариваем, обычно молчим, но подружески. И вот как-то раз он на меня посмотрел и, должно быть, увидел в моих глазах что-то особенное, светлое. Подходит ко мне и говорит: «У вас не будет четырехсот франков займа?» И, представляете, протягивает руку! Слава Богу, у меня как раз были деньги. С тех пор я все время начеку. Чтобы не встретиться с ним. Как увижу на улице – сразу перехожу на другую сторону. Боюсь, как бы он не вернул долг. Но пока мы еще связаны. Такая игра стоит свеч!

– Позвольте заметить, что правительство все-таки тоже кое-что делает, – вмешалась кукла. – Есть специально отведенные места для инвалидов.

– Вообще-то лично я собираюсь жениться, – объявил я, став в позу. – Мы уже много месяцев ездим в одном лифте. Моя невеста – девушка мечтательная, романтическая, с развитым воображением, дитя тропиков, с такой, сами понимаете, все время боишься оказаться не на высоте. Но что такое лифт: пара минут – и все, разочаровать не успеешь, и репутация не пострадает. Я имею в виду не свою репутацию, а репутацию любви. Пара минут в скоростном лифте ничего не нарушит. Но я не согласен с уборщиком из нашего управления, этот ни во что больше не верит или, еще хуже, верит совсем не в то. Человек, его жизнь и его средства выживания – не игрушки. Кажется, кому-то из великих франкоязычников принадлежит фраза: «Терпение и труд все перетрут». И действительно, только благодаря терпению и усердию родителей мы живем в этом мире. В мире изобилия и высокого уровня всеобщих благ на душу.

– Месье Укор, прошу вас.

Укор был моложавый, но худосочный, изрядно потрепанный потребитель с замашками опального аристократа. Знаете таких? Человек обижен на весь мир, оскорблен необходимостью быть тем, что он есть, и вынужден терпеть эту несправедливость. Про себя, не делясь ни с кем – не из жадности, а скорее из жалости, – я прозвал его Вечным Укором. Я ему вполне сочувствовал и однажды, пожимая руку, пошутил:

– Что делать, не всем же быть резедой или королевским кондором.

Королевский кондор часто приходит мне на ум, потому что Голубчик часто видит его во сне – не крылья ли тому причиной?

Но Укор почему-то очень удивился, а некоторое время спустя я услышал, как он говорит господину Паризи:

– С какой стати этот зануда Кузен сует свой нос куда не просят!

А я-то думал, что хоть здесь найду друзей. Досадно, но, видно, сказывается нервное напряжение, комплекс неполноценности и отсутствие опыта.

Замечу кстати, но без повода и без намеков: недавно в газете писали, что во Флориде останавливается уличное движение из-за мошек. Они сталкиваются с лобовыми стеклами автомобилей во время брачного танца и разбиваются миллионами. Капельки любви залепляют стекло, останавливая даже грузовики. Ослепленные водители ничего не видят. Я прочел и поразился: какое скопление любви! Ночью мне снилось, что я кружусь в воздушном брачном танце с мадемуазель Дрейфус. Около часу я проснулся, и сколько ни старался вернуться в этот сон, ничего не получалось: снились одни грузовики.

Итак, я ушел из группы господина Паризи. Не из-за мошек – они ни при чем, а потому что понял: газета «Собеседник» по ошибке направила меня к настройщику. А я не хочу подстраиваться к среде, пусть среда подстраивается к нам. Говорю во множественном числе, чтобы было не так одиноко.

Они решили, что я страдаю только от внешней нехватки, а у меня еще и внутренний излишек. Безысходный избыток. Я даже подумал: может, господин Паризи – член Ассоциации врачей (скорее всего, искусственный член), ведь именно ее президент, профессор Лорта-Жакоб подписал то самое воззвание касательно абортот. Так или иначе, занятие господина Паризи – протезирование, и это очень хорошо, учитывая, сколько на свете увечных и калечных. Для этой культуры всегда есть обширное поле. Искусство, музыка, культурное оживление – все это замечательно. Очень нужно. Очень важно. Протезы – полезнейшая вещь. Они служат на благо общества, позволяют его членам подстроиться, пристроиться, встать в строй и зашагать в ногу. Но это совсем не то, особенно когда подумаешь о тоннах разбитой вдребезги о калифорнийские лобовые стекла любви. Значит, природа насыщена любовью. Кроме того, я не хочу вкладывать в Голубчика человеческий голос, чтобы не обмануть Надежду. Кругом и так сплошной обман. Иногда начинает казаться, что живешь в дублированном фильме: все шевелят губами, а слова не соответствуют. Нас всех просто озвучивают, причем иногда вполне удачно, так что веришь в реальность.

Зато в это же время произошло важное событие: я встретил профессора Цуреса. Он живет этажом выше в квартире с большим балконом. Профессор Цурес – благодетель человечества. Газеты пишут, что только в прошлом году он поставил свою подпись под семьюдесятью двумя обращениями деятелей науки и культуры в знак протеста, солидарности или с призывом о помощи. Между прочим, я заметил: подписываются всегда только эти деятели, как будто остальные неграмотные. Поводы самые разные: голод, геноцид, дискриминация. Подпись профессора Цуреса – все равно что три звездочки в мишленовском путеводителе. Я уж так и считаю: если где-то пошла резня или там гонения, а подписи профессора Цуреса нет, значит, можно не суетиться, это не высший класс. Мне, как эксперту по картинам, нужна для заключения подпись мастера в нижнем углу. Подпись удостоверяет подлинность. А ведь, говорят, столько развелось подделок, даже в Лувре попадают.

Итак, я счел своим долгом представиться человеку, имеющему такой престиж и такие заслуги перед страдальцами. Но, разумеется, скромно, чтобы не показаться навязчивым и нахальным. И стал поджидать профессора Цуреса у дверей его квартиры, встречать его радушной, но ни к чему не обязывающей улыбкой. Поначалу он мимоходом приподнимал шляпу: сосед есть сосед. Но поскольку наши встречи на площадке у его дверей продолжались изо дня в день, приветствие его становилось все суше и суше и наконец совсем иссохло: не прикасаясь к головному убору и не глядя на меня, он хмуро проходил мимо. Понятно, я же не жертва насилия, во всяком случае снаружи это не видно. На мировой уровень я не тяну: швивенькая демографическая единица, а туда ж! Профессор Цурес – солидный седовласый муж, привыкший к пыткам в Алжире, напалму во Вьетнаме, голоду в Африке, где уж мне равняться. Может, я и не был для него совсем пустым местом; и будь у меня налицо нехватка конечностей, ему было бы за что ухватиться, впрочем, вряд ли; у него другие масштабы. Я – одиночное бедствие, моя масса близка к нулю, а у него не водится мелочи, его человеколюбивые акции оцениваются миллионами, он оперирует статистическими величинами, так что в некотором смысле мы с ним коллеги. Он из категории людей, для которых только миллионное кровопролитие становится ощутимым. Таковы издержки крупномасштабного состояния. Вполне осознавая, что я всего-навсего мушиное пятнышко, капля в демографическом море и что, говоря языком кино, меня в титрах нет, я стал появляться на этаже профессора с букетиком цветов в руках, чтобы нарушить заурядность. Это возымело эффект, но он начал как-то побаиваться меня: уж очень стойкое пятнышко, никак его не вывести. А я упорно – что называется, «с упорством отчаяния» – и проникновенно улыбался.

Надо сказать, то была мрачная полоса в моей жизни. Голубчик погрузился в долгое опеченение, мадемуазель Дрейфус внезапно ушла в отпуск, население Парижа еще возросло. Мне страшно хотелось, чтобы профессор Цурес заметил меня, как вспышку насилия, как преступление против человечества. Я мечтал, чтобы он пригласил меня к себе и мы бы стали друзьями, сидели за чашкой чаю и он рассказывал бы мне о прочих бедствиях из своей коллекции, чтобы мне было не так одиноко. Вкушая плоды демократии, можно прилично подкрепиться.

Короче, профессор Цурес занимал все мои мысли, и было так приятно сознавать, что он здесь, у меня над головой. У него прекрасная внешность: строгие, но справедливые черты лица, холеная седая бородка. При одном взгляде на него проникаешься гордостью, взлелеянной властями на примере великих соотечественников всех времен в целях возвеличивания подданных в собственных глазах.

Много недель продолжались наши встречи на лестничной площадке, расширявшие круг моих друзей. Я приготовил для профессора светлое бархатное кресло в гостиной и уже пред-

ставлял, как он сидит в нем и беседует со мной о способах стимуляции полноценной рождаемости и предотвращения десятков миллионов несделанных абортов, в результате которых появляются на свет недородки, в нарушение священного права на жизнь. А на случай нехватки тем для обсуждения я внимательно штудировал газеты. Правда, профессор Цурес все еще не говорил мне ни слова, но я объяснял это тем, что мы давно знакомы и говорить уже не о чем. Думать иначе: будто профессор Цурес не удостаивает меня своим вниманием, так как я не массовое убийство и не подавление свободы слова в Советской России, – было бы ошибкой. Просто он занят наиболее крупными явлениями, а наличие удава длиной в два метра двадцать сантиметров еще не дает мне права считать себя таковым. Да я и не ждал, чтобы он бросился обнимать меня с пустейшим возгласом «как дела», который позволяет отделаться от ближнего двумя словами и дальше преспокойно заниматься собой.

Прошел, наверное, не один месяц, и профессор проявлял неизменную деликатность: ни разу не спросил, что я делаю у него под дверью, что мне надо и кто я такой. Замечу в скобках, без видимой связи с предметом повествования, но в прямом соответствии с его формой и развитием, что удавы, по сути дела, являются не разновидностью животного мира, а точкой зрения на мир вообще.

Когда мимо вас проходят не глядя, это не из-за того, что вас как бы нет, а из-за бандитизма в парижских предместьях. Хотя я вовсе не похож на алжирца.

В принципе я знаю, что бывает и взаимная любовь, но на такую роскошь не претендую. Я готов довольствоваться самым необходимым: просто любить кого-нибудь со своей стороны.

Дружба с профессором Цуресом закончилась самым неожиданным образом. Однажды, когда я, по обыкновению, поджидал его на площадке, излучая добрые чувства, он вышел из лифта и направился напрямик к двери. Я стоял чуть отступя и улыбался. Я вообще улыбчивый, такая у меня счастливая предрасположенность. Профессор достал из кармана ключ и вдруг, впервые с начала нашего знакомства, нарушил установившееся молчание.

Он обернулся и окинул меня откровенно неприязненным взглядом,

– Послушайте, месье, – сказал он. – Вот уже месяц вы чуть не каждый вечер торчите у меня под дверями. Терпеть не могу настырность. В чем дело? Вы хотите мне что-нибудь сказать?

Знаете, когда-то я придумал одну неплохую штуку. Правда, продлилось это недолго, но некоторое время Общество слепых здорово помогало мне. Я приходил каждый вечер после работы и ждал у входа. Часов в семь начинали выходить слепые. Иногда, в особо везучие дни, мне удавалось подцепить человек пять-шесть и помочь им перейти улицу. Ни скажете, велика важность – перевести через дорогу слепого, зато это действует безотказно. Как правило, слепые очень милые, любезные люди, оттого что немного повидали на свете. Я брал своего подопечного под руку, и мы переходили, машины останавливались, прохожие окружали нас заботой. И мы успевали сказать друг другу что-нибудь приятное. Но однажды попался слишком прозорливый слепой. Я помогал ему уже несколько раз, и он меня знал. И вот как-то погожим весенним вечером я заметил его, подбежал и взял под руку. Не знаю, как он догадался, что это я, но реакция была мгновенной.

– Оставьте меня в покое! – заорал он на всю улицу. – Поищите себе другую забаву! Тоже мне благодетель!

И, подняв трость, он перешел через дорогу сам. А на другой день, видно, предупредил своих, потому что никто больше не пожелал со мной идти. Я, конечно, понимаю, у слепых тоже есть гордость, но зачем же лишать других возможности протянуть кому-то руку помощи?

Не знаю, чем обернется предел мечтаний, но, уж поверьте, в нынешнем мироустройстве, при всеобщем порядке вещей, не хватает ласки.

Впрочем, советские ученые верят, что во Вселенной есть жизнь, которая посылает нам радиосигналы через космос.

Мы с профессором стояли на лестнице, и он пожирал меня взглядом. Это было даже приятно, позволяло почувствовать себя.

– И вообще, кто вы такой?

Голос у профессора Цуреса был возмущенный, хронический, раз и навсегда возмущенный, как будто его заклинило во время какого-то чрезвычайно крупного возмущения.

– Я ваш сосед с четвертого этажа, господин профессор. Вы, наверное, знаете... – сказал я, не сдержав горделивой скромности. – У меня есть удав. – И с тайной надеждой прибавил: – Удавы – существа очень привязчивые и незаслуженно обиженные.

Взгляд профессора смягчился, в лице что-то дрогнуло:

– А, так вы тот самый Голубчик...

– Нет, – поправил я, – Голубчик – это мой удав. Он не может без меня жить, поэтому так привязан. Должно быть, вы плохо представляете себе, профессор, что такое жизнь одинокого удава в Большом Париже. Такая жизнь должна быть расценена по шкале ЧП как «бедственное положение», и, поверьте, оно действительно весьма бедственно. Я понимаю, конечно, в вашем распоряжении самые разнообразные притеснения и кровопролития, на которые вы можете переключиться, когда вам плохо и одиноко, но удавам подобные утешительные сравнения недоступны. Они не могут заглушить свои страдания чужими, более значительными по качеству и количеству. Я читал книгу Жоста «Лекарство от одиночества», но чтобы удав мог, как мы, внять благим увещаниям двуногих собратьев или смириться со своей долей, взвесив все возможные беды, которые на нее не выпали, – для этого он должен не только вылезти из своей шкуры, но и влезть в чужую, что не предусмотрено Ассоциацией врачей, ставящей себе несколько иные задачи, а именно: всеобщий равноправный выбор мочеполовых путей. Ее занимают проблемы высшего порядка: неотъемлемое право на среднестатистическую и демографическую жизнь внутри вегетативной системы, в жидкой культуре. А также расширение сети спермобанков с возможным привлечением иностранных рабочих рук. Немаловажно и жилищное строительство в кредит, под залог и под ключ заказчика. Словом, Голубчик – это не я.

– Но вас так зовет весь квартал, – сказал профессор Цурес, разглядывая меня с любопытством, как серьезный человек, позволивший себе маленькую разрядку.

Я был в полном смысле ошеломлен. Вот уж не знал, что меня знает весь квартал. От волнения у меня перехватило дыхание и задрожали поджилки. За себя я не испугался, не такая уж я крупная дичь, чтобы устраивать на меня облаву. Во мне всего-то метр семьдесят два, овчинка выделки не стоит. Но меня беспокоит необъяснимая неприязнь, враждебность, отвращение людей к удавам. Они нередко становятся жертвами стихийного разгула, подвергаются бесцельному, неоправданному с практической или экономической точки зрения истреблению из чисто идейных соображений, вроде тех, исходя из которых в древности устраивались крепостные походы. Одни мстят удавам за то, что они так инородны и неудобоваримы. Другие ставят им в вину, что они, не имея никаких оправданий в виде интеллекта, рук или ног, а также исторических традиций и научного багажа, все равно живут в неволе, им незнакома жажда власти над собой и над другими, что, наконец, они прирожденные пресмыкающиеся и ползают гораздо лучше нас. Так или иначе, бей, души, дави богопротивных гадов! Но, с третьей стороны, справедливости ради нельзя не признать, что французы питаются лучше, чем любой другой народ, и кулинарное искусство у них на высоте. Особого внимания заслуживают изысканные соусы и благородные, в самом точном смысле слова, вина.

Правда, встречаются окрыляющие исключения. Так, прогуливаясь однажды по Люксембургскому саду в купе с Голубчиком, я набрел на человека, который одобрительно посмотрел

на меня и сказал вслед:

Защита природы – насущная необходимость!

Я был тронут до слез. Это был солидный господин с орденом Почетного легиона за дружеские услуги в петлице. Мне такое снится ночами. Я вижу, будто ко мне подходит мальчик лет семи-восьми, не больше, – так что с ним можно разговаривать на равных, – кладет руку мне на плечо и произносит:

– Именем удавьего рода и властью, данной мне свыше, посвящаю тебя, Голубчик, в кавалеры ордена Почетного легиона за дружеские услуги.

... Подумать только, в России есть целая река под названием Амур.

Все это вовсе не отступление, ибо то, что я собирался сказать профессору Цуресу на лестничной площадке, имеет прямое отношение к моему предмету. Видели бы вы, как он, Голубчик, выписывает на полу спирали, петли и арабески, ища трещинку, чтобы просочиться на волю.

– Простите, господин профессор, мою, так сказать, подспудную назойливость, но дело в том, что я преклоняюсь перед вами. Мне известны ваши подписные заслуги. И я знаю, что у вас много места. Поэтому я хотел просить вас приютить. . .

Профессор раздраженно перебил меня:

– Опять злосчастная комната для прислуги! Она действительно пустует, но временно. Моя прежняя прислуга-испанка вернулась на родину, скопив капитал, и теперь я жду португалку. Комната не сдается. Весьма сожалею.

И он вставил ключ в замок.

Жестокое недоразумение. Я не хотел просить его уделить место невостребованным, недожденным, но уже обремененным страданиями человеческим существам, – в конце концов такой же удел ждет грядущую португалку. Да и пустующие комнаты для прислуги милы моей душе: они как будто тоже кого-то ждут. Зная почерк профессора Цуреса, я считал, что такие, как он, организуют всевозможные комитеты по приему и устройству прибывающих на этот свет. Я, разумеется, имею в виду прибытие не только в эмбриональной, но и в любой другой форме. Белая мышь, может, не такая важная особь, но когда она сидит у меня в руке, нежная, слабая, женственная. . . в общем, что говорить. . . я чувствую» что защищен от жизненных невзгод, пока ее мордочка тычется в мою ладонь (при большом желании это прикосновение можно счесть благодарным поцелуем). Так хорошо в теплой ладони. Наверно, это и есть милость.

Кстати, надо бы заглянуть в атлас – он у меня всегда под рукой на случай человеческих заблуждений – и посмотреть, где именно находится русская река Амур. Пустить реку по другому руслу в целях оживления пустыни вполне осуществимо. Само собой, я не собираюсь поворачивать Амур в своих личных целях, но пусть бы его воды коснулись меня по весне, в разлив, не то я иссохну – иссохну без живительной влаги, нельзя же всю жизнь ждать, чтобы сломался лифт.

Поставьте себя на мое место. При нынешнем несовершенном, но незыблемом положении вещей удавы питаются мышами. Вот я и хотел попросить профессора Цуреса приютить Blondину, поскольку он такой большой человек. Потому что рано или поздно Голубчик Blondину сожрет, как требует природа. Природа же, как каждый знает по себе, есть не что иное, как сплошное извращение.

Достаточно взять в руку мышку, чтобы убедиться. Лично у меня в такие минуты теплеет в груди, как будто великая река Амур вдруг покинула русло и из глубины России притекла сюда, из тамошнего сибирского края в здешний, в наш Париж, поднялась в лифте на третий этаж, хлынула в мою двухкомнатушку и затопила все вокруг. Как будто я сам в объятиях мощного Амура, как в теплой, уютной ладони. Разрешение этнического конфликта между удавами и белыми мышами в руках великой реки Амур, и, пока она протекает где-то за тридевять земель, на краю географии, будет продолжаться взаимопожирание при полной занятости, невзирая на все успехи жилищного строительства.

Я тут как-то обмолвился о Голубчике, разговаривая с парнишкой-уборщиком из управления, он вроде бы интересовался классовой борьбой в природе и в силу этого просил меня держать его в курсе моих экологических проблем. Так он, извольте радоваться, опять завел свое.

– Приходи к нам, чудак, – говорит. – У нас будет демонстрация в Бельвиле. Там ты сможешь свободно развернуться. Иначе удавишься собственными петлями.

Пристал как банный лист!

– А что за демонстрация? – спросил я осторожно: а ну как опять политика.

– Просто демонстрация, – ответил он, участливо глядя мне в глаза.

– Но какая? Против кого или против чего? Или, наоборот, за кого? Арабов там хоть не будет? Может, опять какие-нибудь политические или фашистские штучки? Или, не приведи Господь, что-нибудь божественное?

Он жалостливо покачал головой и сказал:

– Бедняга. – В голосе его слышались теплые нотки. – Ты совсем как твой удав. Даже не знаешь, что кто-то о тебе заботится.

И ушел, показывая всем своим видом, что ему жаль попусту тратить любовь.

Не нужно мне никакой демонстрации, чтобы развернуться, растянуться и распуститься – кум королю! – в собственной квартирке, с трубочкой, табачком, в тесном кругу домашних предметов обихода. Но я страдаю избытком и не вижу иного способа расширить сбыт скопившихся продуктов внутреннего потребления, кроме ненавязчивой рекламы исподволь, типа кампании «Рука помощи». Я так переполнен ресурсами любви, что иногда, сидя в кресле, думаю: уж не во мне ли берет исток одноименная русская река! Этот подземный источник еще не открыт, и только мадемуазель Дрейфус с присущей чернокожим особой чуткостью догадывается о его существовании. Негры куда чувствительнее нас, что объясняется необходимостью выживания в девственных лесах и пустынях, где источники существования крайне редки и глубоко запрятаны. Мысленно я так и говорю ей – я ведь решил на следующей стоянке, в Бангкоке, в гостинице «Ориенталь» (проспект у меня уже есть), объясниться и откровенно высказать все самое сокровенное. . . «Иренэ, – говорю я, – я хочу все-все отдать вам, во мне такое изобилие эмоциональных ресурсов, что некоторые географы полагают, будто великая река Амур берет начало в моих недрах. . . » Здесь моя речь переходит в другое русло. Я имею в виду будущую речь в Коллеж де Франс, если настанет время, когда удавы и их так называемая жизнь будут наконец признаны достойными внимания сей высокочтимой аудитории и представляемой ею цивилизации.

На сегодня мне требуется только одно, только об одном молюсь я во весь внутренний голос, боясь потревожить соседей: чтобы было у меня любимое существо. Весьма скромное требование. Но как изложить все это профессору Цуресу, человеку утонченному, доктору всех и всяческих наук, которому, скорее всего, не по вкусу кровавый бифштекс с доставкой на дом и явно недостает опыта привычных к кровопусканиям великих сибирских рек. Я и он все равно что бурьян и газон. Я стоял перед ним как животрепещущая проблема: если истину о себе высказываешь вслух, слух ближнего останется для нее закрытым. Зато открылась дверь в профессорскую квартиру, послушная простому повороту ключа.

А я и без ключа открою вам всю душу и скажу, что если бы профессор согласился приютить Блондину и присматривать за ней, это не только положило бы начало замечательной дружбе между нами, но и помогло бы мне наконец отделаться от самого себя и больше не чувствовать себя лишним, как все лишние самочувствия.

– На что мне ваша мышшь? Что за дичь?

Профессор был взбешен. Меня это не обескуражило, наоборот – я радовался бурному началу нашей дружбы.

– И почему я? Почему именно ко мне вы пристали со своей мышью? Как это прикажете понимать? Ну вот что, мне некогда. С вами я разговариваю только из вежливости, поскольку мы соседи, но возиться еще с вашей мышью мне некогда, и так времени кот наплакал.

Я задохнулся смехом и еле выговорил:

– Простите. . . Но у вас так остроумно получилось. . .

Меня разбирало все больше.

– . . . вы так естественно и кстати вспомнили о коте, как только речь зашла о мышши. . .

Во мне нет ни капли злорадства, но смех приносит облегчение, и я не мог остановиться.

– Так вы. . .

Профессор побелел как полотно, на фоне которого даже его безукоризненный шарф показался сероватым.

– Вы издеваться надо мной вздумали?! – взорвался он. – Фашист! Террорист! Провокатор!

Мне сделалось страшно. Я терял друга. Глаза профессора метали молнии. Прошу простить высокопарный слог, вообще-то он не в моем духе: в наше время красивыми словами не

проймешь, это шелуха, а мне важна суть. И я стараюсь выдержать самый демографический, житейский, подноготный тон. Высокие материи нынче поизносились.

– Вы славитесь как защитник всех обиженных. А я укрываю у себя белую мышь и не знаю, что с ней делать дальше. Именно «укрываю», поскольку мышь слаба и отовсюду ей грозит опасность.

– А как же ваш удав? Ведь, если я не ошибаюсь, он как раз мышами и питается? Так в чем же дело?

Он шагнул ко мне, засунув руки в карманы брюк, выпятив грудь и задрал, как хвост, полы пальто. Сигарета во рту, борода, кашне и шляпа. Под мышкой распухшая от милосердия, набитая правами человека папка. (Портрет предельно точен!) Гнев профессора улетучился, вид у него был теперь скорее насмешливый.

– Надеюсь, ваш удав питается как следует? А чем вы его кормите? Мышами, то-то и оно. Так нечего вилять и отпираться. Против природы не попрешь.

– Тут я бессилен. Но я кормлю его не сам, поручаю прислуге. А к вам пришел за помощью, вот и все. Потому что смертность чувств достигла ужасающих размеров.

– У вас своеобразная манера выражаться! – сказал профессор Цурес.

– Я пытаюсь пробить брешь, вот и все. Вдруг нарвусь на что-нибудь новое. Уборщик из нашего управления говорит, что все слова нагородили для того, чтобы оградить среду. Вход свободный, обеспеченный священным правом на жизнь, а выход перекрыт. Не знаю, приходилось ли вам держать на ладони беззащитную мышку. Впрочем, у вас, конечно, всегда найдутся миллионы голодающих, это колоссальное облегчение. Не стану вас больше отрывать, скажу только, что телевидение предоставляет всем и каждому утешаться массовыми страданиями. Вот только что показывали: пятьдесят тысяч эфиопов умерли от голода, – ради того, чтобы отвлечь нас, но на меня это не действует, то есть мне от этого легче не становится. Такой уж я бесчувственный.

– У вас есть друзья? – участливо спросил профессор.

– Могли бы быть, но люди не любят удавов, а я не могу бросить несчастное животное. Не могу – и все. Слышали об инопланетянах? Ну вот, и тут примерно то же самое, помощь извне, за пределами возможного.

Профессор положил руку мне на плечо без всякой снисходительности, уж он-то умел выражать добрую волю.

– Дорогой мой, я все понимаю, но квартира у меня не так велика. Взять вас к себе я не могу, зато на днях непременно загляну к вам сам. Не падайте духом. Все будет хорошо. Вам вредно одиночество. Постарайтесь завести друзей.

С этими словами он толкнул дверь и ушел к себе, но это было уже не важно: я успел вылезти из своей скорлупы и шагнуть далеко вперед. Долго еще стоял я перед закрытой дверью и улыбался ей как живому существу.

До утра я не мог заснуть. В ушах пел хор дружественных голосов, перед глазами колыхались васильковые луга. Я люблю васильки, особенно за название: «василек» – слово веселое и похожее на смех ребенка. У меня такое бывает: целые концерты звучат в глубине души, с песнями и плясками, берущими за сердце скрипками и задорными народными инструментами, как подумаю о разлитом вокруг море любви, о ждущих своего часа сердечных кладях и о двух миллиардах островов сокровищ, омываемых амурными волнами. Люди страдают от перенасыщения добром, которое не могут излить на головы ближних – не позволяет общественный климат, засуха в социуме. Каждый, задыхаясь от нерастраченности, думает, как бы побольше отдать, – это же прекрасно! Актуальнейшая проблема всех времен – избыток любви и доброты, которые в силу Бог знает какого несовершенства нашего устройства не находят естественного оттока, так что великая река Амур принуждена растекаться по мочеполовым каналам, Я тоже ношу в себе невидимые, но наполненные до краев резервуары, их содержимое гниет и бродит, не находя выхода, а поделиться этим богатством не с кем: Голубчик – удав, его потребности весьма невелики, Блондина – мышь и тоже довольствуется малым, была бы теплая рука.

Мне самому так не хватает теплой дружеской руки.

И вот ночь, и я лежу, свернувшись кольцами, и думаю обо всем этом, а в глубине души играют флейты, пляшут васильки, цветут улыбки. Все равно темно, никто не видит, так что пусть. В старину говорили: у стен есть уши, они все слышат, но это вранье, стенам начхать, стоят себе, и все. Если, конечно, самому на них не лезть. Одна мадемуазель Дрейфус могла бы пожать мои плоды, пока они не сгнили на корню. Вот если бы нам с ней так повезло, как я однажды читал в газете: люди застряли в лифте и просидели всей компанией сутки с лишним. Авария, хорошая авария – отключение тока, остановка потока, разрыв замкнутого круга, – и мы бы наконец нашли друг друга. Я бы и сам подсуетился и сломал что-нибудь в механизме, но как это сделать на ходу, да еще когда сидишь внутри, – нет, в одиночку тут не справиться. Я уж готов был прибегнуть к помощи извне и попросить нашего уборщика, но не решился: его богатый опыт подрывной деятельности мог бы все испортить.

Лежу и слушаю свой потайной приемник. В такие минуты кажется, что все легко: встать, найти себя в потемках, обняться и забыться в теплой дружеской руке.

Но ладно уж, сойдет и то, что есть, в конце концов не хуже, чем у людей; я встал, нашел в потемках кресло, взял Голубчика, и он чувствительно обнял меня, и я забылся.

С Блондиной в теплой дружеской руке, согретой близким существом в лице удава, – чем не жизнь!

Но однажды ночью, когда мы все трое спали, положившись друг на друга, наглядно отклоняясь от природы и приближая горизонты невозможного, несбыточный предел мечтаний и т.д., произошло непоправимое, чему я был бессильным свидетелем во сне. Должно быть, пальцы мои разжались, мышь оказалась на ладони, на виду, и в Голубчике незамедлительно сработал закон джунглей. Пусть тот, кто побывал в подобной ситуации, представит сам, что чувствовала бедная Блондина, очутившись перед раскрытой пастью страшного чудовища, хоть и невидимой в темноте, но осязаемой по охватившему тебя смятению. Спасения нет. Я так перепугался, что, кажется, чуть окончательно не родился, известно же: страх стимулирует роды. Понять всю глубину трагедии под силу только тем, у кого хватит слабости. К счастью, я проснулся, и оказалось, что Голубчик с Блондиной мирно спят, каждый на своем месте. Ничего не стряслось, если не считать моего потрясения. На всякий случай я встал и посадил мышь в коробку, но долго еще не мог заснуть, предоставленный самому себе.

На следующий день ровно в девять часов пятьдесят минут произошло долгожданное событие. Я пропустил уже несколько кабин, поджидая, как подразумевалось строго между нами, пока придет мадемуазель Дрейфус, и она наконец появилась, но я к тому времени совсем извелся и с ужасом думал: вдруг не придет совсем, а придет письмо, что между нами все кончено. Как-никак мы ездим в одном лифте каждое утро вот уже целых одиннадцать месяцев, а для совместной жизни нет ничего хуже привычки, потихоньку подменяющей подлинное чувство.

В то утро я и без того был расстроен: мне нанесли оскорбление. Дело было так: я зашел в «Рамзес» выпить кофе, а за соседним столиком сидела немолодая дама и держала на коленях зеленого попугая в корзинке. Кого-кого, а меня особа, разгуливающая по Парижу с попугаем, не удивит, однако же дама сочла нужным ко мне обратиться. Протягивая какую-то карточку, с кисло-сладкой, точно по рецепту китайской кухни, улыбкой, она сказала:

– Возьмите, месье. Это новая телефонная служба, звоните в любое время суток, и с вами поговорят. Все законно, даже занесено в справочник: служба «Родственные души». Ни рекламы, ни пропаганды, просто душевный разговор, вас внимательно выслушают, расспросят, им все о вас интересно. А можно абонироваться на дополнительные услуги; вам пришлют приятный подарок на день рождения, и вы будете знать наверняка: в этот день специально выделенный человек думает о вас.

Я возмутился. Кажется, я прилично одет и вид у меня не такой уж заброшенный.

– А когда разговор окончен, вы вешаете трубку?

– Ну разумеется, – ответила дама.

– «Ну разумеется», – насмешливо передразнил я и поднялся во весь рост, бросив на столик преysкурant «Родственных душ». – Вы вешаете трубку и снова остаетесь одна со своим зеленым попугаем. Но я, мадам, к вашему сведению, человек семейный, у меня есть подруга в лифте, я не нуждаюсь в общении посредством телефона.

Я распалился и в завершение тирады сказал:

– Запомните, мадам, в Париже не принято заговаривать с незнакомыми мужчинами, которые вас не трогают.

Из дальнейшего можно, во-первых, заключить, как легко человеку ошибиться в другом человеке и как ненадежен даже самый неразлучный попугай в трудную минуту. Немолодая дама вдруг разрыдалась, а телефонная сеть и не подумала помочь ей. Я же вдруг понял молодых и горячих преступников, которые, ища сочувствия, хватаются за револьвер и стреляют в кого попало. Никогда прежде мне не случалось видеть, чтобы кто-то проливал из-за меня слезы, и столь явное внимание к моей персоне подействовало на меня ошеломляюще.

Во-вторых, как можно заключить из того же дальнейшего, ошибиться в зеленом попугае тоже легко. Слезы лишенной всякой телефонной помощи немолодой дамы я описал достаточно подробно. Повторяю, первый раз в жизни я заставил кого-то плакать и был глубоко потрясен тем, что, оказывается, обладаю даром, о котором никогда не догадывался и который мог бы значительно облегчить мои сношения с собратьями по мегаполису. В восторженном озарении я представил себе широчайшие возможности мгновенного резонанса, спонтанного равенства, представил город как демократическое общежитие и радужные перспективы самопроявления. Но еще больше поразил меня попугай, обнаруживший такую человечность, какой, несмотря на длительные изыскания в Национальной библиотеке, я не распознал в нем с первого взгляда. Эта пернатая личность, поначалу игнорировавшая беседу, безучастно сидя в корзинке, вдруг взмахнула крыльями, очутилась на плече у личности человеческой и принялась осыпать ее увядшее лицо нежными клевками, вопя:

– Бум! Сердце стучит в груди!*

– Вы бы мне такого не сказали, если б я была молодой и красивой! – с обидой выговорила немолодая личность.

– Бум! Сердце стучит бум-бум! – оглушительно утешал ее попугай.

Дама дала ему орешек и, поднеся к глазам платок, улыбулась сквозь слезы. И тут попугая заклинило.

– Бум-бум, бум-бум! – заладил он.

– И расцветает любовь! – подсказала хозяйка.

Но попугай молчал, словно проглотил человеческий язык, и только жалобно смотрел круглыми глазами на братьев больших. Не попугай, а мокрая курица.

– Бум-бум! – беспомощно проквохтал он наконец и забился в корзинку.

У меня защемило сердце.

– Я держу удава, – сообщил я даме, чтобы она поняла, что мы с ней в каком-то роде одного поля ягоды. – Он перенес уже несколько линек, но все равно остается удавом. К сожалению, такие проблемы пока неразрешимы.

К нам подошел хозяин «Рамзеса», взял деньги, которые я положил на столик, и сказал, что по радио передали, будто бы на южном направлении, у Жювизи, образовалась пробка километров на пятнадцать. Я горячо поблагодарил его. Ведь тем самым он дружески подумевал, что на других направлениях пробок нет, все пути открыты, свободны вплоть до горизонта возможно. Рядом со мной сидела славная седовласая женщина, видно было, что жизнь ее прошла в тяжких и бесполезных трудах. В лучшем случае она имела мелкую лавочку или что-нибудь в этом духе. Довожу сие до сведения Ассоциации врачей как факт, имеющий отношения к вопросу об абортах и священном праве на жизнь.

И тут я вспомнил плакат с правилами оказания первой помощи, он висел напротив, на стене дома по улице Дюкре, там были фотография и все указания, как делать искусственное дыхание рот в рот угоняющим и другим пострадавшим. Так вот, делать это надо как можно скорее, дорога каждая секунда, но обычно все равно бывает слишком поздно, поди распознай утопающего в уличном потоке. Демографический поток – это вам не амурные волны: течение в парижском метро так сильно, что запросто утонешь и следа не останется. Я понял: немолодую даму надо спасать рот в рот – телефонной сети в таком деле, как искусственное дыхание, доверять нельзя. С точки зрения общественной безопасности и культуры это – искусство, требующее вдохновения. Между тем попугай смотрел на меня круглыми глазами, в которых сквозили обида на непонимание и ожидание ответа. А дама продолжала улыбаться из глубины корзинки, но мы уже все друг другу высказали, исчерпали общую материю, остались лишь смущение и неловкость. Тем не менее, чтобы дама не подумала, будто я потерял к ней интерес по тем же причинам, что и все прочие, я с присущей мне находчивостью подхватил сказанное хозяином «Рамзеса» относительно пятнадцатикилометровой пробки на южном направлении, у Жювизи. Причем постарался придать голосу твердость, чтобы внушить даме, что остальные пути открыты, – не хотелось оставлять ее в беде. Потом перешел к статистике и большим числам, чтобы она поняла: в таком великом множестве всегда есть шанс на рождение и возрождение. Примеров сколько угодно: пораженные филлоксерой виноградники снова плодоносят, министр здравоохранения неустанно заботится об увеличении поголовья отечественного рабочего скота во Франции (так он сам писал в газете «Монд», впрочем, вполне вероятно, что это был министр сельского хозяйства, ошибка же возникла из-за смещения ценностей или упущения в наборе), а недосмотр властей или утечка при абортах могут спо-

*Слова известной песенки Шарля Трене.

собствовать рождеству Человека – подобно тому, как это имело место на заре нашей эры. Я безостановочно работал ртом, накачивая жертву, но усилия разбивались о подавленный взгляд из корзинки. Что ни говори, а убитый горем попугай – это нечто превышающее человеческие силы.

Прежде чем вернуться в лифт и описать произошедшее там грандиозное событие, я должен заскочить сам и забросить читателя к себе домой, поскольку в мое отсутствие Голубчик выкинул коленце, которое сначала выбило у меня почву из-под ног, а потом восстановило против меня всех жильцов. Впрочем, нет, пожалуй, забегать вперед не стоит, не то обилие пусть даже самых искусных извивов вокруг да около предмета могут оставить у придирчивого читателя ощущение сумбура и затянутого узла. Пусть все идет своим чередом. Итак, поведаю сначала о счастье, обрушившемся на меня в лифте. Едва оторвавшись от земли, мадемуазель Дрейфус посмотрела мне в глаза, ослепила улыбкой и с мягким акцентом родных берегов спросила:

– Ну что ваш удав? Как он поживает?

Это был уже второй после знаменательной встречи на Елисейских полях откровенный знак внимания с ее стороны.

У меня потемнело в глазах, как всегда, когда перехватывает дух, и целый этаж я прочищал горло, пока не смог говорить спокойно, не рискуя усилить ее смятение, – юные негрятки впечатлительны и пугливы, как газели.

– Благодарю вас, – сказал, – живет как может.

Конечно, надо бы сказать: «Спасибо, он живет отлично», но то-то и оно, что я не хотел создавать у нее впечатление, будто все хорошо и без нее. Мне ясно представился кадр из передачи «Жизнь животных»: испуганная газель срывается с места и исчезает в джунглях. Поймите меня правильно: на грани срыва долгожданное событие приобретает огромную важность.

– Живет как может. Развивается нормально. Вырос за год на два сантиметра.

Нам оставалось всего два этажа, чтобы все высказать друг другу, и я замолк со всей доступной мне невыразимостью. Обычно для внушительности я ношу темные очки, как кинозвезда, чтобы не приставали поклонники на улице, но в тот день в приливе этакой мушкетерской лихости – где наше не пропадало! – не надел их. Поэтому мог досыта выразиться обнаженным взглядом и высказал Иренэ все, что накипело. Верьте слову, взгляд мой пел, как хор и скрипка с оркестром, вместе взятые. Никогда в жизни не был я так счастлив в лифте. Я выпустил из глубины корзинки убитого горем попугая. Казалось, кровавые бифштексы во всех мясных лавках города обрели наконец право голоса и тоже запели хором. Это так резко подняло престиж домашнего скота в глазах потребителей, что стала наконец очевидной разница между бараном и человеком. А во мне что-то родилось или, по крайней мере, что-то выкипело.

Миновали Бангкок, Сингапур, Гонконг, а кабина все поднималась. Мне приходилось читать, что роды могут начаться где угодно, например, в поезде, самолете, такси, но как-то не верилось – мало ли что напишут, да и опечатки сплошь и рядом. Мадемуазель Дрейфус в кожаной мини внимательно смотрела на меня. И я чувствовал, она видит насквозь тайники моей души: затравленного попугая в корзинке, белую мышь в коробке, удава в два метра двадцать сантиметров и двадцать узлов в час, которому я служу единственным посредником. Смотрела и улыбалась, а лифт возносился, должно быть, в заэтажную высь. Только заметив, что он снова на первом и, кроме меня, в кабине никого нет, я очнулся.

Но главное ждало меня впереди. Не успел я все-таки подняться к себе, как в кабинет вошла мадемуазель Дрейфус с чашкой кофе, в рыжей кожаной мини и того же цвета сапогах. Она прислонилась к моему ИВМ и, помешивая ложечкой кофе, спросила:

– Нельзя ли как-нибудь взглянуть на этого самого удава?

Я не растерялся. Когда видишь, что кто-то хочет выплыть, умеи бросаться в воду. Человек

терпит одиночество – это бедствие я знаю не понаслышке и откликаюсь с первого зова. Движимый инстинктом самосохранения, я нырнул не раздумывая:

– Ну конечно. Заходите к нам на чашку чая, когда вам будет угодно. Не забиваться же в корзинку, как я тут видел одного попугая с дамой. Приходите, мы всегда рады.

– Что, если в субботу? Часов в пять?

– В пять! – звонко отчеканил я. – Договорились.

Мадемуазель Дрейфус вышла. По-моему, мир спасет женственность, по крайней мере в моем случае так уж точно. Бывают, я знаю, противные случаи: например, в нашем доме, шестой этаж, вход со двора, живет некий господин Жальбек, так у него в шкафу висит немецкий мундир со свастикой. Я пишу о нем, чтобы заполнить паузу, образовавшуюся после ухода мадемуазель Дрейфус.

Не знаю, сколько времени я простоял как громом пораженный, но, должно быть, много. Чтобы прийти в себя и сесть, понадобилось расслабиться через силу, да еще не очень-то я был уверен, в себя ли пришел. Я вдаюсь в подобные детали единственно потому, что на свете, несомненно, бесчисленное множество таких же безнадежно фантастических романов, как мой, и я хочу поделиться опытом с себе подобными, протянуть им руку помощи.

Домой я летел на крыльях, спеша обнять Голубчика и пуститься с ним в пляс, – на радостях во мне разыгралась вакхическая струя.

Но Голубчика дома не оказалось. Он пропал. Исчез. Испарился бесследно. В моей двухкомнатной комнате нет угла, где он мог бы от меня спрятаться. Я знаю наизусть, куда он заползает, когда не в духе. Под кровать, под кресло, за занавеску. Но ни в одном из этих мест его не было.

В панике я перерыл всю квартиру. Кошмар! Голова шла кругом, мысли мелькали одна другой нелепей. Что, если Голубчик ушел в состоянии аффекта, который вызвало у меня обещание мадемуазель Дрейфус? Или решил, что он мне больше не нужен, его место будет занято, и удалился из деликатности, тактичности или, наоборот, из обиды и ревности? Мадам Нибельмесс оставила открытой дверь, и он уполз с разбитым сердцем. А может, перед уходом черкнул мне несколько слов, орошенных слезами? Я зарыдал и рухнул в кресло. Нет, нигде никакой записки. Что же теперь делать, если мадемуазель Дрейфус придет в субботу проведать Голубчика, а я исчез и даже не предупредил? Один-одинешенек. Подавленный всем комплексом Большого Парижа с бессмертными памятниками культуры и архитектуры. Голубчик ползает понизу, он мог отравиться выхлопными газами. На улицах полно ксенофобов, известно, как не любят стихийных эмигрантов, вон арабов сколько раз убивали ни за что ни про что, а удав еще похлеще араба! Мне редко выпадало счастье, и я не знал, каково психическое воздействие столь резкого выпадения на непривычный организм. С одной стороны, все еще грела улыбка мадемуазель Дрейфус в лифте и ее обещание заглянуть ко мне, с другой – леденила пропажа любимого удава, в общем, я был под стрессом противоречивых чувств.

Я снова обыскал все углы и даже, как каждый на моем месте, заглянул в запертый снаружи шкаф. Но обнаружить удава не удалось, несмотря на весь мой опыт в этом жанре.

Шкаф зиял вопиющей невозможностью.

Невозможное в обличье чисто французского общества закрытого типа со всеобщим избирательным правом собственности под ключ подступало с ножом к горлу.

Короче, каждый знает, что значит потерять близкое существо. Наконец я лег с дикой головной болью, меня ломало и скручивало в такие узлы, что не продохнуть. Я не случайно говорю о ломке – ни с чем другим так не схожи муки человека, лишенного опоры и утешения, человека, который, отдав все душевные излишки, любимой твари (ведь все мы твари

Божьи), спешит домой после долгого отсутствия (на службе и вообще), заранее улыбаясь при мысли, что любимец поджидает его, свернувшись в уголке или повиснув на занавеске, – и вдруг. . . «Кто же теперь будет обо мне заботиться, кормить меня, брать на руки и обвивать вокруг плеч от избытка братских чувств и одиночества», – в отчаянии думал я. По-моему, братство – это слияние грамматических лиц «я» и «он», «я» и «ты», обогащающее возможности сопряжения. На секунду мне показалось, что я просто опоздал, например из-за забастовки в метро, и сейчас буду дома, усталый, но довольный; вот-вот, как обычно, щелкнет ключ в замке и войдет с полной сумкой продуктов и с газетой под мышкой Голубчик. Я поползу ему навстречу, приветливо извиваясь; дурачась, потяну за брючину, и все снова будет к лучшему в этом лучшем из миров – глупейшее, между нами говоря, выражение! Но поверить в это по-настоящему я не мог, как не мог вернуться в свои восемь лет – самый подходящий возраст, когда только и возможно невозможное. Меня обуревал страх очутиться на дне корзины с затравленным попугаем и даже без родственной души его зрелой хозяйки; в горле застряла пятнадцатикилометровая пробка под Жювизи, перед глазами вставали душераздирающие картины: вот Голубчика сбивает грузовик, и мадам Нибельмесс преподносит мне его в виде дамской сумочки; в мозгу бушевал смерч, поднимая застрявшие в извилинах частицы культурного багажа: Наполеон, выводящий свой народ из Египта, наши предки галлы, бюст Бетховена, забастовка на заводах Рено, программа фронта левых сил, Ассоциация врачей, профессор Лорта-Жакоб на страже жертв аборта, Голубчик, представляющий Францию на мировом форуме. Меня не удивило бы, если бы в квартиру в самом деле вошли, связали меня по рукам и ногам, подвергли экспертизе на степень негодности, а затем передали в Лигу прав человека для окончательного заключения.

Часам к одиннадцати я настолько запутался и замотался, что решил пока не дергаться, памятуя, что шнурки следует развязывать потихоньку, не то затянешь узел еще сильнее. В лихорадочно воспаленном сознании вспыхивал красный свет, магистральные артерии распирал напряженный поток, респираторные пути периодически закупоривались пробками, пульсировали мигалки и выли сирены «скорой помощи» с пожарной командой. Со всех сторон скрежетало и грохотало, и каждую минуту увеличивалось поголовье недородков, обеспечивая рабсилу, изобилие и полную занятость. Нарастало всеобщее нервное истощение, духовное оскотение и бессердечная недостаточность последних предметов необходимости. Стадо эмбрионов паслось на ниве Министерства инородного образования. Я попытался отогнать наваждение, увести мысли в сторону по тропкам ассоциативных связей: от эмбрионов к пробиркам, от пробирок к культурам, а уж культура – совсем другая музыка, Девятая симфония Брамса, иерихонские трубы, от которых падают стенки. Но легионы недородков врывались во все бреши, расползались, как фашистская зараза. А что толку кричать: «Фашизм не пройдет!» – хрен редьки не слаще, пройдет что-нибудь другое, такое, что не обрадуешься. Тот же эмбрионал-социализм (не угодно ли?). Это не политическая партия, не идеология, никакой поддержки избирателей тут не нужно. Это явление демографическое, обусловленное самой природой, священным правом на мочеполовую жизнь. Я вдруг ощутил столь мощный позыв в этой области, что встал и пошел по нужде.

Все-таки выйти Голубчик никак не мог: у него нет ключа. Наверно, задержался на работе, какие-нибудь сверхурочные часы, другого объяснения не было. Разве что завернул в бордель, но маловероятно: он ходил туда, если приспичит, только в обеденное время, с двенадцати до двух, когда нет наплыва людей. Такой уж он чудак. Трудно представить, чтобы его опознали и затоптали в метро – после долгого рабочего дня парижане едут усталые и пассивные. В полицию тоже вряд ли забрали – полиция ничего не имеет против пресмыкающихся.

Состояние мое было неопишимо, – выражаясь техническим языком, я попросту слетел с катушек. Однако ценой невероятных усилий произвел полную перемотку и восстановил присущую мне картезианскую ясность ума. В доме Голубчика нет, следовательно, он выполз, улизнул через какое-нибудь из отверстий, к которым, как я знал, его всегда тянуло. Негодный удав спал и видел, как бы удрать на волю и посвоевольничать. Такие несознательные поползновения уже бывали.

Еще раз все обыскав, я окончательно установил, что его действительно нет. То была великая победа разума: значит, я на верном пути.

Я взял в руки Блондину и погладил ее по шерстке. От дружеской ласки мне стало легче. Но, кажется, у Блондины есть свои, гастрономические, основания радоваться исчезновению Голубчика.

Когда, посадив ее обратно в ящик, я закрывал шкаф, под окном вдруг раздался вой сирен. Я распахнул его, высунулся и увидел, что у подъезда остановились карета «скорой помощи» и полицейская машина.

Меня так и пронзило: в «скорой помощи» он, Голубчик, его задавил шестьдесят третий автобус, в котором лет пять тому назад один тип обозвал меня мозгляком. Его погрузили в «скорую помощь», а полиция пришла допросить меня, в каких условиях я содержу дикую иностранную рабсилу. Я решил дорого продать свою шкуру и схватился за автомат, разумеется, воображаемый – строчить из настоящего я ни за что бы не смог, это только так, чтобы не упасть в собственных глазах. Изготовившись, я стоял посреди комнаты и конспирации ради глотал свои особые человеческие приметы, только несколько штук пробились и скатились по щекам. Сейчас принесут безнадежного Голубчика на носилках. Директор зоопарка еще давно, как увидел его, сразу сказал: «Вот это, я понимаю, удав!» Может, и другие так понимали и по ошибке линчевали его.

Бессильно сжав кулаки, я ждал. Никого. Шумели на лестнице, но где-то внизу. Наконец я не выдержал и, забыв всякую осторожность, сам открыл дверь и вышел.

События разворачивались этажом ниже. Перегнувшись через перила, я с удивлением увидел, как санитары выносят на носилках мадам Шанжуа дю Жестар. Супруги Шанжуа дю Жестар живут прямо подо мной, просто к слову не пришлось упомянуть о них раньше. На площадке стояли двое полицейских и сам Шанжуа дю Жестар, лысый и в подтяжках. Мне стало неловко, но тут сам Шанжуа дю Жестар поднял голову, увидел меня, и лицо его запылало такой яростью, что я сам в кои-то веки почувствовал себя действующим (только неведомо где и как) лицом.

– Негодяй! Скотина! Извращенец!

В два скачка он одолел разделявшие нас ступеньки и, если бы полицейский не схватил его за руки, набросился бы на меня с кулаками. Шанжуа дю Жестар – рослый, грузный, лысый, коммерческой складки человек о трех подбородках, которыми он как добрый католик мог бы поделиться с ближним. До сих пор мы отлично ладили, поскольку оба понимали: хочешь жить в мире с соседом – поменьше с ним встречайся. Но на этот раз он прямо-таки рвался из кожи вон мне навстречу.

– Мерзавец! Маньяк!

Он захлебнулся, явно не находя больше слов, что неудивительно, поскольку согласно последним социологическим исследованиям словарный запас современного француза сократился на пятьдесят процентов по сравнению с прошлым веком. Я поспешил ему на помощь и с готовностью подсказал:

– Дерьмоед! Хулигад! Безомразник!

Но он принял мои добрые намерения за личные оскорбления, и блюстители порядка еле сдержали новый его порыв.

– Подонок! Так оскорбить честную женщину!

– Пройдемте в участок! – сказал один из блюстителей, пресекая с молчаливого согласия напарника всякие разговоры о честности.

Шанжуа дю Жестар плюнул мне в лицо, но не попал – я стоял на три ступеньки выше.

Блюстители затолкали его в квартиру и заперли, а меня взяли под руки и еще раз настойчиво пригласили в участок.

Представьте же мою радость, когда за решеткой в полицейском комиссариате XV округа я увидел. . . кого же, как не моего драгоценного Голубчика, свернувшегося собственной персоной в тугую, готовую к самообороне пружину! В помещении сидел он один, всех завсегдаев: дежурных потаскушек и беспаспортных туристов, не сумевших доказать, что они японцы, – эвакуировали. Я бросился к решетке, протянул руки сквозь прутья и стал гладить Голубчика. Он узнал мою ласку, стремительно распустил узлы и с державной легкостью воздвиг в воздухе спираль, представ во всем своем великолепии и подставив мне голову, особо чувствительную к изъявлению братских чувств. Тут одна эвакуированная потаскушка, – не могу без волнения вспомнить! – белокурая потаскушка, прелестная, как каждая не успевшая утратить веры в свое дело шлюха, сказала:

– Какая лапочка!

Я вспыхнул и затрепетал от этого комплимента. Затем меня провели к уже знакомому комиссару, и я наконец узнал, что произошло между Голубчиком и внешним миром.

Голубчик обожает плескаться, мне приходится постоянно следить, чтобы он не шалил в туалете, где вода не первой свежести. Но в тот день перед уходом я, должно быть, неплотно прикрыл дверь, и любознательный удав дорвался. Ну, а дальше все пошло как по писаному: он обследовал унитаз, нашел дыру, радостно влез в нее и заполз в канализационную трубу. Приятная освежающая прогулка – и он вынырнул этажом ниже, в туалете Шанжуа дю Жестаров,

как раз в тот момент, когда хозяйка восседала на толчке. Голубчик высунулся, чтобы глотнуть воздуха и осмотреться, и при этом задел особу мадам Шанжуа дю Жестар. Будучи женщиной весьма степенной, имеющей склонность к классической музыке и утонченному вышиванию, она сначала решила, что ей почудилось. Однако Голубчик проявил упорство и еще несколько раз легонько боднул мадам Шанжуа дю Жестар в интересное место. Тогда она подумала, не засорилась ли труба, привстав, заглянула в унитаз, и глазам ее предстал вздымающийся из воды удав. Бедная женщина испустила страшный вопль и, не сходя с места, потеряла сознание. Ее легко понять: в Голубчике два с лишним метра, для человека непривычного это многовато. Тут-то и последовала упомянутая выше бурная сцена с участием Шанжуа дю Жестара, «скорой помощи» и наряда полиции. Я попытался объяснить комиссару, что Голубчик – абсолютно невинное существо и ни за что не притронулся бы к прелестям почтенной мадам Шанжуа дю Жестар, если бы не вмешался случай. Но тут ввели разгневанного супруга, который, в свою очередь, немедленно вмешался и заорал на меня: «Свинья! Подонок!» – как будто это я просочился в канализацию, чтобы пощупать его супругу за пикантные места. Я оборонялся как мог, втолковывал ему, что я занимаюсь не чем-нибудь, а статистикой и не имею обыкновения ползать по вонючим трубам, – все напрасно: Шанжуа дю Жестар вцепился в меня мертвой хваткой. Комиссар сказал, что меня могут привлечь к суду за нанесение ущерба психическому здоровью с его возмещением. Он опять спросил, есть ли у меня разрешение на содержание экзотических эмигрантов в домашних условиях, и я опять предъявил ему документ. Стоило большого труда убедить его, что я не спускал Голубчика в канализацию с каким-то тайным умыслом. Наконец мне разрешили забрать удава, я шагнул за решетку, взял его на руки, а он в ту же минуту прижался головой к моему плечу и заснул от перевозбуждения.

Попрощавшись со всем обществом, я хотел поскорее уйти восвояси, но комиссар остановил меня.

Вы не можете идти по улице, обернувшись удавом, сказал он отеческим тоном. – Париж – Город нервный, достаточно искры, чтобы вызвать взрыв. По инерции все худо-бедно идет своим чередом. Но если народ взбаламутить, показать ему иные возможности, он разнесет все к чертям.

В то же время комиссар протянул руку и потрепал буйную головушку Голубчика.

– Красота! Живая природа! – сказал он и вздохнул из глубины своей полицейской души.
– О-хо-хо! Бывает же!

– Еще бы! – подхватил я. – При моей профессии так приятно прийти вечером домой и найти образчик живой природы.

– Что и говорить, – подытожил он. – Ладно, идите, только будьте осторожны. Возьмите такси. Обстановка в Париже накалена до крайности. Все держится только в силу привычки. Недавно один тип бегал по улице и стрелял направо-налево, в правых и виноватых. А тут еще вы с вашим удавом... Люди примут это за покушение на привычный образ жизни. Ну, счастливо. Но больше не попадайтесь в трубу и не щекочите порядочных дам в неподобающем месте. Конечно, конечно, это не вы, а удав, я все понимаю, но ответственность все равно на вас.

Он не сводил глаз с Голубчика. Все-таки не каждый день такое увидишь. Потаскушки и даже подчиненные комиссара тоже смотрели как зачарованные. В каменных джунглях не часто встретишь явление природы. Все люди как люди, а тут особь совсем другого вида!

– Да, это дело долгое и кропотливое, – сказал комиссар. Туманное замечание, но для меня в нем забрезжила Надежда.

Дома, как по заказу, меня ждала под дверью желтая бумажка: наконец-то Общество собралось принять меня в расчет. Я заполнил анкету очень тщательно: пригодится, если возникнут сомнения или придется доказывать свое существование. Всякое бывает. Когда население норовит перевалить за три миллиарда, а в ближайшее десятилетие подобраться к десяти, проблем хватает: тут и инфляция, и девальвация, и падение нравов, и рост поголовья на корню в мировом масштабе.

Пятница подходила к концу, а в субботу в пять обещала заглянуть мадемуазель Дрейфус.

Я стал готовиться. Поражать Иренэ показным блеском и пускать ей пыль в глаза ни к чему. Пусть меня любят ради меня самого. Поэтому я ограничился тем, что принял ванну и смыл последние следы канализации. Из ванной меня вытащил телефонный звонок. Естественно, кто-то опять ошибся номером. Я настолько привык отвечать: «Это ошибка», что стал и впрямь чувствовать себя ошибкой. Так часто звонят незнакомые люди, которые ищут кого-то другого. В этих поисках наугад другого существа есть что-то бесконечно трогательное: может, тут проявляется некое, отличное от обычного, телефонное подсознание. . .

Итак, я накрыл стол скатертью, украсил букетом ландышей в простой вазочке, расставил чайный сервиз на две персоны и положил две красные салфетки в форме сердечка. Сервиз на две персоны приобретен мною давным-давно: судьба требует, чтобы ей доверяли, и эти требования следует выполнять, тогда есть надежда хоть когда-нибудь ее задобрить. Но что подать гостю к чаю, я не имел ни малейшего представления. Как вспомню, сколько я натерпелся из-за разборчивости Голубчика! Однако мадемуазель Дрейфус живет в наших широтах уже давно и, надо полагать, не столь привередлива.

Спал я плохо, меня лихорадило – все из-за предстоящей встречи, ведь я был уверен, что мадемуазель Дрейфус действительно придет, а когда всю жизнь ждешь и ждешь любовь, оказываешься к ней совсем неподготовленным.

В голову лезли разные мысли. Я думал о том, что безупречность любой системы обеспечивается наличием фактора ошибки, и, значит, следует ждать его вмешательства. Что ж, как говаривал нам Вездесущий Голубчик, «прости им, ибо не ведают, что творят». Позволю себе и я заметить своим ученикам, в случае, если по опубликовании настоящего труда удостоюсь институтской кафедры, что предвестия грядущего предела мечтаний можно наблюдать под цветущими каштанами, на скамейках Люксембургского сада и в подворотнях, а именуются они «прологомены» (от греческого «пролог» и английского «men» – «люди»), то бишь «прелюдии». Перейдем, однако, к ошибке, касающейся нас вплотную.

Я был готов к приходу мадемуазель Дрейфус уже в два часа дня. Правда, она обещала к пяти, но при парижских уличных пробках!

Голубчика я расположил на самом виду, в кресле у окна. Выгодно освещенный, он весь сиял, словно аттракцион в луна-парке (от англ. to attract – приманивать), – это как приманка и задумано, чтобы понравиться мадемуазель Дрейфус.

Сам же нарядился в светлый костюм с зеленым галстуком. Одеваться следует внушительно, тогда не так опасно переходить улицу – вас считают персоной и потому обращают на вас внимание. Волосы у меня белесые и жидковатые, но, к счастью, это незаметно, потому что на мою внешность никто не смотрит. И ничего страшного, даже наоборот – тем явственней видны достоинства внутренние, лучшим выразителем которых является Голубчик в силу моей к нему привязанности. Прошу прощения за узловатость – это нервное.

В половине пятого раздался звонок. Меня охватил страх: вдруг опять ошиблись номером. Но я паял себя в руки и пошел открывать, стараясь держаться как можно раскованнее: когда девушка первый раз приходит в гости к удаву, она поневоле робеет, и надо поскорее поместить ее в свою тарелку.

На пороге стояла мадемуазель Дрейфус в рыжей мини и таких же сапогах выше колена, но это еще не все.

С ней были трое наших общих сослуживцев.

При виде их кровь отхлынула у меня от лица, так что мадемуазель Дрейфус обеспокоилась.

– Вот и мы, – сказала она, выпевая слова по туземному обычаю. – А что с вами, вы какой-то странный или забыли наш уговор?

Удушил бы наглецов! Вообще-то, вопреки укоренившемуся предрассудку, я совершенно безобиден, но этих троих сжал бы железной хваткой и удавил на месте.

Вместо этого я осклабился, приветствуя гостей:

– Заходите.

И широко распахнул дверь – так подставляют грудь врагу.

Они вошли. Замначальника управления Лотар и двое молодых из сектора проверки, Бранкадье и Ламбержак.

– Рад вас видеть, – сказал я им.

На самом деле я был бы рад провалиться сквозь землю. В моей двухкомнатушке прихожей практически нет, шаг – и сразу попадаешь в гостиную. Они без колебаний сделали этот шаг. . . Мадемуазель Дрейфус обернулась и посмотрела на меня с мягкой улыбкой. Зато другие. . .

На Голубчика они и не взглянули.

Они пожирали глазами стол.

Букетик ландышей.

Пару чайных чашек.

И пару салфеток сердечком, будь они неладны.

Всего по паре, все накрыто для пары сердец.

Их насмешливые взгляды сразили меня наповал, но, соблюдая приличия, я не дал себе воли и остался полуживым.

Какое коварство! Какая сокрушительная жестокость!

Я стоял словно голый, а все вокруг сотрясилось беззвучным смехом. Самоубийство не для меня, я человек маленький, у смерти найдутся клиенты покрупнее. На сенсацию я не тяну ни качеством, ни количеством.

Конечно, я не имел на все это права. На ландыши, скамейку под каштанами в Люксембургском саду, подворотни, чайный сервиз на две персоны и пару салфеточных сердечек.

Никакого права, ведь мне ничего не обещали. Просто что-то как будто проклюнулось в кабине лифта.

Надежда – это ошибка, свойственная человеческой натуре.

– Очень мило, – сказала мадемуазель Дрейфус, глядя на сердечки.

Те трое тоже не сводили с них глаз. Так и впились, вцепились мертвой хваткой.

– Такое может вкрасься даже в работу IBM, – промямлил я.

Ошибка, фактор ошибки может вмешаться даже в самые совершенные системы – вот что я хотел сказать, но не ради оправдания, я ведь только следовал природе.

– Стиль ретро, – произнес я далее с героическим усилием, чтобы выручить сердечные салфетки – я чувствовал себя настолько слабым, что мне было необходимо кому-нибудь помочь.

– По-моему, нас тут многовато, – заметил догадливый Ламбержак. – Мы, пожалуй, вас оставим.

Оба приятеля поддержали его. Издевательство чистой воды, хотя они не подавали виду. Но я-то понял.

Я приготовился защищать Голубчика. Как бы между прочим опустил руку в карман пиджака. Тревожные sireны взвыли на пороге сердца, я напряжился и занял круговую оборону. Мой подпольный шеф Жан Мулен когда-то тоже попал в ловушку и был схвачен гестапо в Калюире. Голубчик безмятежным клубком лежал в кресле, вполглаза поглядывал на всех с величавым презрением. Ни дать ни взять особь другого вида. Безупречная маскировка, и бумаги в полном порядке. Жан Мулен умер, но не выдал себя.

– Интересно, каково живется удаву? – спросил Бранкадье, подчиненный Ламбержака.

– Ничего, привык, – ответил я.

– Привычка – вторая натура, – глубокомысленно изрек Ламбержак.

Я сухо подтвердил:

– Именно. Кем быть – распоряжается случай, а там уж выкручивайся как знаешь.

– Приспособление к среде, – сказал Ламбержак.

– Приспособление – это и есть среда, – поправил я.

– А что они едят? – спросил Бранкадье.

Тут я заметил, что Лотар и мадемуазель Дрейфус пошли на кухню. Смотрят в холодильнике, что я ем!

Я застыл в немом негодовании.

Удавы не нападают на человека. Это все клевета, и Голубчик мирно дремал в своем животном состоянии.

Все же я не выдержал и ринулся на кухню.

Юнцы в гостиной у меня за спиной так и прыснули. Мадемуазель Дрейфус искала в шкафу чашки. Я встал рядом, сложив руки на груди и улыбаясь с видом презрительного превосходства.

– Я спущусь и буду ждать вас в машине, – сказал Лотар. – А то она ненадежно припаркована. Пока. Ваш удав очень мил. Я с удовольствием на него посмотрел. До понедельника, месье. . .

Я ясно слышал непроизнесенное «месье Голубчик».

– . . . месье Кузен. И спасибо. Удав в домашних условиях – это так интересно.

Мадемуазель Дрейфус закрыла шкафчик. Естественно, больше чашек у меня не было – дома я считаю не больше чем до двух. И я не понимал, почему она на меня так смотрит.

– Мне, право, очень неприятно, – сказала она. – Поверьте. Так получилось. Они тоже захотели посмотреть на удава. . .

Мадемуазель Дрейфус опустила густо поросшие ресницами глаза. Она едва не плакала. Описан случай, когда потерпевший кораблекрушение матрос трое суток погибал в открытом море и все-таки был спасен. Главное – не захлебнуться. И я жадно глотал воздух. А мадемуазель Дрейфус все стояла, опустив глаза, на грани моих слез. И тогда. . .

Тогда я горько усмехнулся и распахнул холодильник.

– Пожалуйста. Смотрите, если хотите.

Яйца, молоко, масло, ветчина. Все как у людей и с равным правом. Масло, яйца, ветчина – среднестатистический рацион. Правда, живых мышей я не ем, не привык, еще не настолько приспособился. Если я и ошибка, недоразумение, которое подлые негодяи хотят устранить, то чисто человеческого свойства.

Дверца закрылась, и я снова сложил руки на груди.

– Где же ваш удав? – тихонько спросила мадемуазель Дрейфус.

Она хотела сказать, что мне не надо ничего доказывать и нечего оправдываться, моя человеческая природа для нее не подлежит сомнению, и она понимает, что я не удав.

Мы вернулись в гостиную.

По дороге случилось невероятное.

Она пожала мне руку.

Я понял это не сразу, поначалу списав на несчастный случай, каприз праздной конечности, вне всякой связи с системой священного права.

Порог гостиной мы переступили в мире и согласии.

Ламбержак и Бранкадьё, склонившись над креслом, разглядывали Голубчика.

– Он прекрасно ухожен, – сказал Ламбержак. – Это ваша заслуга.

– И давно у вас эта страсть к природе? – спросил Бранкадьё.

– Не знаю, – уклончиво ответил я, не опуская скрещенных на груди рук. – А что? Мечтать ведь, кажется, никому не возбраняется.

И, поднимая голову все выше, а руки стискивая все крепче, прибавил:

– С природой все не так просто.

– Конечно, проблемы среды, – подхватил Ламбержак. – Виды на грани истребления нуждаются в защите.

– Вся надежда на фактор ошибки, – вымолвил я, но объяснять не стал – все равно они бессильны.

– Многие обезьяны, киты и тюлени тоже под угрозой, – сказал Бранкадьё.

– Да уж, забот невпроворот, – подтвердил я с самым серьезным видом.

– А некоторые уже почти не существуют, – сказал Ламбержак.

Я проглотил намек не моргнув глазом.

– В общем, есть над чем потрудиться. – Ламбержак потер руки, будто собираясь закусить, и, сверкнув подбородком, выпрямился.

– Похвально, очень похвально, – сказал он, глядя мне в лицо. – Видно, что вы-то не сидите сложа руки.

А я как раз изо всех сил сжимал сложенные на груди руки, пока не стало жарко. Руки – ведущий орган для поддержания душевного комфорта.

Я безмолвно овладевал высотой положения. Если бы не разбитые сердца несчастных салфеток, вышел бы вообще без потерь. Но они мучительно краснели вместе с беззащитными ландышами, и я никак не мог прикрыть их.

Мадемуазель Дрейфус, отойдя к окну, где посветлее, наводила красоту. Она ждала, чтобы лишние ушли, но те и в ус не дули. Ничего не поделаешь: среда всегда окружает, осаждает и досаждаёт.

Пользуясь случаем, замечу невзначай, но с чувством: моя заветная мечта – видоизмененный язык. Небывалый, с безграничными возможностями.

В этой же связи из другой области: каждый раз, когда я прохожу по улице Соль мимо мясного магазина, мясник подмигивает мне и тычет кончиком ножа в разложенные на витрине безмолвные красные куски. Ему-то что, мясникам к бойне не привыкать, а я... Я ощущаю острую нехватку английской флегмы. Вид онемевших языков на мясном прилавке заставляет громко роптать мое чувство справедливости и оживляет убитого горем попугая в глубине корзины. Пример с попугаями весьма показателен в силу природной ограниченности их выразительных средств скудным, однообразным, принудительным языком. В результате: забитость и подавленность на самом дне корзинки. Вы скажете, на свете есть поэты и они героически борются со всеобщей избитостью, однако их не воспринимают всерьез ввиду незначительных тиражей и мощного отвлекающего действия средств массовой информации. Исключение составляет советская Россия, где поэтов неукоснительно искореняют как недопустимое отклонение от нормы, наносящее урон поточному производству абортотворения и производной от него цивилизации.

Ну, а этого нашего мясника я особенно опасаясь: всему кварталу известно его пристрастие к деликатесам.

Мадемуазель Дрейфус спрятала помаду в сумочку, щелкнула замочком и протянула мне руку. На Голубчика она даже не взглянула. Чернокожие болезненно относятся к намекам на свое происхождение, им сразу мерещатся джунгли, обезьяны, расисты и все такое прочее. Между тем низшей расы не существует, хотя бы потому, что ниже некуда.

– К сожалению, мне пора, я опаздываю. До понедельника. Спасибо, что зашли.

Подозреваю, что последнюю фразу благовоспитанно проговорил я сам.

Ламбержак потрепал меня по плечу и сказал:

– Приятно взглянуть на такое. Вы правильно делаете, что поддерживаете связь с природой.

– Похвально, очень и очень похвально, – покровительственно изрек Бранкадьё.

– Спасибо. Увидимся в понедельник, – повторила мадемуазель Дрейфус.

– На днях, – уточнил я, не желая связывать себя словом.

Все трое вышли и остановились у лифта, я же закрыл за ними дверь, но, прежде чем захлопнуть ее окончательно, помедлил. Не так уж мне хотелось знать, что они скажут, но было поздно.

– Вот это да! – сказал Ламбержак. – Ну и ну! Помрешь!

– Не зря ж я вас уговаривал! – сказал Бранкадьё. – Видали сердечки на столе?

– Губа не дура! – сказал Лотар, очевидно поднявшийся поторопить приятелей.

– Такому житью не позавидуешь, – проговорил Бранкадьё, уступая потребности возвыситься за счет ближнего.

– Да, бедняга... – примазался Ламбержак.

Статистически достоверный прием: чтобы не захлебнуться, надо во что бы то ни стало удерживать голову над водой. Выше нос, не то пропал. Самосохранение путем самовнушения.

Только в интересах данного исследования и документальности ради выслушал я из-за двери этот разговор.

Мадемуазель Дрейфус не сказала ничего. *Она ничего не сказала* (курсив мой).

Взволнованно, потрясенно, молча чуть ли не плакала. Ее молчание звучало во мне самом: уж я-то знаю. Я с улыбкой прислонился к косяку, нежно-нежно, словно к щеке мадемуазель

Дрейфус. Мне казалось, что мы втроем составляем подпольную ячейку и дело у нас идет на лад. А это не так мало, учитывая, как целеустремленно ИВМ предотвращают и искореняют человеческий фактор.

Я выдержал испытание, но какой ценой: меня скрутило, стянуло узлом, шевельнуться не мог от боли.

Постепенно я успокаивался, а чтобы окончательно прийти в себя, погрузился в легкую спячку. И надо сказать, пришел действительно в себя, то есть вновь обрел целыми и невредимыми все свои изъяны и полную рабочую форму. Так что даже отправился перекусить в китайский ресторанчик на улице Блатт. Он очень маленький. Столики и люди за ними размещаются почти вплотную, придешь один, а окажешься в тесном кругу: со всех сторон ближние, все плечом к плечу. Слышишь разговоры, пусть они чужие, но проникают в самую душу. Втягиваешься сам, подхватываешь на лету шутки и тоже можешь свободно выражать любовь и симпатию к собратьям. Словом, то, что называется теплая дружеская обстановка. Тут мне хорошо, я оттаиваю, закуриваю сигару и становлюсь в душе душой общества. Люблю, чтоб все попросту, по-домашнему. Разумеется, удавам в ресторан нельзя, но я знаю правила и стараюсь их соблюдать. Бот и на этот раз все прошло чудесно, справа и слева от меня расположилось по паре влюбленных, и мне досталось вдоволь ласковых слов и нежных пожатий. Другого такого китайского ресторана нет во всем Париже.

После насыщенного дня я долго не мог уснуть. Ночью два раза вставал, подходил к зеркалу и оглядывал себя с головы до ног: не появились ли какие-нибудь обнадеживающие признаки. Ничего. Та же кожа, та же конфигурация.

Сдается мне, что прорыв произойдет не с этой, а с той стороны. Легкий сбой в программе, минутная заминка – тут-то и проклюнется живой побег. Хотя почему, спрашивается, весна всегда случается в природе и никогда в нас самих? Как бы хорошо взять и, с позволения сказать, распуститься где-нибудь в апреле – мае.

Осмотр выявил одну-единственную родинку под левой мышкой, которая, может, была и раньше. Правда, стоял ноябрь.

Я сунулся к Голубчику, но он был не в духе, общаться со мной не пожелал и заполз под кровать – дескать, «прошу не беспокоить». И я снова лег, обремененный детской смертностью. За окном гудели реактивные самолеты, целеустремленно сверлили ночь полицейские сирены, с шумом катили машины, и я пытался успокоить себя мыслью, что все они куда-то направляются. Думал о правоохранительных органах Италии (там потеплее!). Твердил себе, что раз на каждом шагу припасены огнетушители и продолжается их производство впрок, значит, это неспроста и не пустые хлопоты, а явное преддверие в пределах возможного. Заботами муниципальных служб мое окно достаточно освещено снаружи, и, если бы к дому подставили пожарную лестницу для спасения жертв с верхних этажей, на моем горизонте появилось бы человеческое лицо. С другой стороны, может, так и задумано, чтобы сначала изолировать меня от среды, а потом открыть и распознать, изучить и ввести в организм для повышения сопротивляемости, как Пастерову вакцину или пенициллин. Подумать только, какая масса Нобелевских премий пропадает втуне! Кончилось тем, что я снова встал под предлогом малой нужды, вытащил Блондину и посадил ее в ручное укрытие. Ее влажная мордочка тыкалась в ладонь, словно ласковая розинка.

Утром я пришел на работу очень рано, все думал: что же будет? – и боялся пропустить. К тому же, скажу не стыдясь, страшновато было встретиться с мадемуазель Дрейфус после нашей вчерашней близости. Я взбудораженно перебирал в памяти все, чего мы не произнесли вслух, но так или иначе, молча, флюидами, высказали друг другу. В пятитомной «Истории Соппротивления», которую я читаю для поднятия духа, написано, что у великой реки Амур есть тайный подземный ход, невидимое русло, где в приливе слабости можно спасти от окружения сокровенную искру Божью. Искру называют Божьей именно в силу ее божественной слабости, и только сокровенной ее и можно сохранить. Когда же подпольщики осторожно, бесшумно, поиндейски переступали порог сердца и тайно сходились вместе, разгоралось нечто грандиозное. Возгоралось пламя. То были существа особой породы. Подчеркиваю в знак восхищения и на заметку имеющим уши. Я не поджигатель, мне важно не столько пламя, сколько жар, ведь на священных искрах во все времена, а в наше особенно, грели руки.

В тот день телексы нашего статуправления, специализирующегося в области демографии, принесли информацию о значительном приросте рук (в смысле рабочих рук, которых, например, всегда не хватает в сельском хозяйстве) – в одной только Франции приросло триста тысяч пар, опрометчиво зарегистрированных новорожденными, к вящей радости многодетных матерей, довольных тем, что на сей раз это счастливое событие постигло не их. Мой IBM тоже явно был доволен, клавиши так и слабились: как же, пополнение матриц, приток статистических единиц – что может быть приятнее для машины!

Триста тысяч мочеполовых единиц, так сказать, валовой национальный продукт. Ну, а я встал и пошел глотнуть кофе, я ведь не Иисус Христос, и мне нет дела до проблем полной занятости недородков, широкого потребления рабсилы, нехватки рук в агропромышленности, роста поголовья отечественного скота или конкуренции между французскими и китайскими спермобанками; впрочем, и Иисус Христос не сильно озабочен проблемами деторождения.

В кафе я отважно развернул газету. Все одно к одному: министр здравоохранения – в ту пору именовавшийся Жаном Фуайе – самым энергичным образом высказался с демократической трибуны против абортот. «Я имею определенные убеждения, – так он и сказал, – которыми никогда не поступлюсь». Bravo! Я тоже против абортот обеими руками. За неотъемлемое право рождаться целиком и полностью. У меня тоже имеются убеждения, которыми я никогда не поступлюсь. Я тоже считаю: пусть поступаются другие. Я тоже дорожу покоем и чистой совестью. Я тоже умываю руки.

Эта газета каждый день посвящает целую полосу искусству и культуре в душеспасительных и благотворительных целях, а также для отвода глаз. Благонамеренный глазоотвод – отличный камуфляж. Надежное укрытие для Жана Мулена и Пьера Броссолета – там их искать не станут. Так что я – за.

На этом фоне черный кофе-экспресс выделяется светлым пятном – хоть тут горечь без камуфляжа.

Стою я, допиваю свой кофе, облокотившись на стойку, и вдруг кого бы вы думали вижу неподалеку? Того малого – уборщика. Будто случайно затесался в стадо. Этаким упитанный экземпляр французской породы, глядит задорно и весело, ничуть, как ни странно, не набычась. Пристроился у другого края поилки и при виде меня не повел и бровью, разве что подмигнул вполглаза. То есть не столько он подмигнул, сколько я уловил намек. И упреждающе кивнул. Но он хоть бы что. Не здороваётся. У меня похолодело в груди. Опять неудачная попытка пересадки сердца с отторжением! Может, нам и нечего было сказать друг другу, но это «нечего» было, и оно было общим. А теперь он стоит, жуёт крутое яйцо, прихлебывает кофе и ни гуту. Правда, вид у него довольный, но тому причиной не я, а кофе. Уму непостижимо, сколько добрых чувств могут люди излить на какую-то ничтожную чашку кофе. Наконец он все-таки обратился ко мне, очевидно, сработало чутье и он решил приобщить меня к своей вере в ручное освобождение, в смысле «своею собственной рукой».

– А я как раз вчера о тебе думал.

Ну прямо наповал!

– И кое-что тебе принес, держи-ка. . .

С этими словами вынимает из кармана какой-то печатный листок и открыто протягивает мне:

– Выучи наизусть. Хоть будешь знать, что такие вещи возможны и доступны, и то прок.

Он бросил на стойку франк и с независимым видом, будто ему сам черт не брат, направился к выходу. Не напади он сразу на дверь, небось не поздоровилось бы стенке. Меня такие типы раздражают.

Я взглянул на листок. Отпечатано скверно, на ротаторе. Пришлось надеть очки. Ага, вот заголовок. «Изготовление бомб в домашних условиях из подручных материалов». . .

Не знаю, как у меня не остановилось сердце! А если в кафе сидят личности в штатском и не спускают с меня глаз? Скорее порвать бумажку! Все вокруг поплыло, туман прорезали слепящие лучи фонарей, они впились в душу, обшаривали все углы, мне звонили в дверь в шесть утра, в неизменных кожаных плащах. А я-то забыл снять Жана Мулена и Пьера Бросолета, теперь они пропали, засветились. Прямо здесь, в кафе, за стойкой, среди рогаликов и крутых яиц, я ясно услышал этот звонок в шесть утра. Паника охватила меня, разыгралась не на шутку, а она у меня всегда разыгрывается в лицах и крупных масштабах, например в виде военного переворота в Чили, пыток в Алжире, ближневосточного конфликта или мира во Вьетнаме. Иначе говоря, горячие точки полыхают локально, а вокруг тишь да гладь. Не все отдают себе отчет в том, что жуткий страх и ужас свидетельствуют о ясности сознания и адекватном восприятии окружающей действительности во всех ее проявлениях. При нынешнем положении вещей полное физическое расстройство – самое здоровое состояние. Поэтому тревогу и смятение у недород-ков следует всячески стимулировать в целях окончательного рождения. Страх ускоряет роды – это общеизвестно.

Однако я взял себя в руки – и очень вовремя, еще чуть-чуть, и я бы сознался, что укрываю ползучего еврея. Выручила закалка старого подпольщика: да здравствует родина! – я устоял.

Не моргнув глазом допил кофе и даже заказал еще чашку – пусть видят: я не спешу удрать. Хоть я и прочитал о Соппротивлении все, что можно» но времена изменились, теперь расстрелом на Мон-Валерьен не отделаешься.

Я вытер пот со стойки и закурил трубку с наибританским видом. Похоже, уборщик за мной шпионит. Глядит протачком, а видит насквозь все мои узлы и извилины. Где же неприкосновенность частной жизни?..

Для живых существ, лишенных защитных приспособлений и затравленных принудитель-

ной свободой, один выход – уйти в подполье. Впрочем, есть и другой: порвать с Сопротивлением и обрести душевный покой в фашистской форме, но такой костюм я соглашусь надеть лишь при наличии торговой марки левых сил. На этот счет я очень щепетилен и должен знать, какого происхождения вещь. Душевный покой – тонкая материя, а где тонко, там и рвется, тут марка особенно важна. К счастью, в настоящее время реальной фашистской угрозы нет, да в ней и нет нужды – обходимся своими силами. Кто страшит фашистской угрозой, тот просто хватается за соломинку в стоге сена. Что и говорить, фашистский мундир укрыл бы меня надежнее, чем внутреннее сопротивление, но предмет данного исследования – удавы, а их, как подсказывают мне интуиция, опыт и убеждение, их такая мимикрия не прельщает, они точно знают, чем это кончится: им спустят шкуры и наделают из них ремней, щитов, сапог и черных кожаных плащей для утренних визитов. Поэтому я обзавелся укромными норами с отнорочками, чтобы можно было вернуться и спрятаться в себя. Для удава в мегаполисе с десятимиллионным населением, перенасыщенном уличным движением, жилищный вопрос имеет первостепенное значение. И даже если я по необходимости вылезая наружу – иду, например, на работу или в бордель, – то не подвергаюсь особому риску, поскольку проходим в парижской давке не до удавов.

Наконец мне удалось покинуть кафе, сохраняя внешнюю невинность, и у лифта я встретил мадемуазель Дрейфус – было ровно девять. Мы вошли в кабину, и она озарила меня великолепнейшей, с привлечением всей лицевой мускулатуры, улыбкой. У меня гора свалилась с плеч, ведь обычно после первой интимной встречи влюбленные испытывают вполне понятные неловкость и волнение. Такая психологика. Я даже не знал, есть у мадемуазель Дрейфус родные в Париже и поставила ли она их в известность. Если нет, то оно, может, и к лучшему, есть вещи, которым лучше не обнаруживаться и не высказываться. Судьба затоптанных окурков да будет им наглядным предостережением.

– Добрый день. Все было так мило в субботу.

И тут я не ударил в грязь лицом. Схватил удачу на лету и сделал гигантский скачок:

– Вы ходите в кино?

Вот так, непринужденно, запросто. В лифте было еще пять человек, и мой вопрос произвел эффект разорвавшейся бомбы. По меньшей мере, на меня. Остальные не выказали никакой реакции. Верно, не поняли масштаба события: я взял и пригласил мадемуазель Дрейфус в кино.

– Очень редко. Устаю после работы. . . а в выходные отдыхаю.

Ага, она дает понять, что для меня готова сделать исключение. И еще: что вечерами не болтается невесть где, а занимается хозяйством, стряпней, нашими детьми и ждет меня со службы. Разогнавшись, я уже собрался так же лихо предложить ей сходить в кино в ближайшее воскресенье, но лифт остановился.

В коридоре, не доходя до своей двери, мадемуазель Дрейфус сказала с особым смыслом:

– Вы, должно быть, и правда очень одиноки. Точное попадание. Яснее в присутственном месте не выскажешься.

– Жить с удавом – это надо, чтобы у человека совсем-совсем никого не было. . . Ладно, пока, как-нибудь на днях увидимся.

На прощание мадемуазель Дрейфус еще одним мускульным усилием преподнесла мне вторую улыбку, которая осталась витать в коридоре вместе с ароматом ее духов. Я тоже витал и потому предстал перед своим ИВМ с опозданием на четверть часа.

События набирали темп. Я решил сделать мадемуазель Дрейфус ответный подарок – букетик цветов. Завтра дождусь ее у лифта, но не внизу, как обычно, а наверху – пусть поволнует всю дорогу, поломает голову, что могло случиться, не заболел ли я, а выйдет из лифта – я тут как тут, с букетом фиалок наготове. Дальше все пойдет как по маслу: наплыв чувств, признания, скамейка в Люксембургском саду под цветущим каштаном.

Ночь была потрясающей! Я стал вместилищем концерта. Песни, пляски, бубны, народные костюмы – представление на славу, переполненный зал, ни одного пустого местечка! Я улыбался в темноте под бурные аплодисменты. Выходил кланяться на бис. Фиалки поставил в стакан с водой – больше им не требуется. Стоит женщине появиться на пороге сердца – и весь внутренний мир ликует, просто невероятно!

Без четверти восемь – вдруг мадемуазель Дрейфус не утерпит и придет пораньше – я стоял на площадке десятого этажа. С фиалками в руке, готовый распахнуть дверь лифта.

Девять. Пять минут десятого. Мадемуазель Дрейфус нет. Служащие прибывали порциями, и я уже перестал открывать им дверь – не нанялся.

Девять пятнадцать.

Двадцать.

Мадемуазель Дрейфус нет.

Не сдамся. Не дрогну, не уступлю ни пяди. Пусть ухмыляются – люди есть люди, ведут себя чисто по-человечески... или нечисто... все равно, пусть... На том стою с букетиком фиалок, фиалки тоже стойко пахнут.

Девять двадцать пять. Мадемуазель Дрейфус все нет. Меня бросало в жар и в холод и постепенно скручивало в узел. Но вдруг осенило: она, наверно, ждет меня внизу, чтобы, как обычно, подняться вместе, навеки вместе, а меня нет, и она все стоит и стоит. Я бросился по лестнице вниз как ошпаренный, но опоздал, перед лифтом никого, а кабина уже спускается. Что ты будешь делать, сплошные накладки, не дай Бог, мадемуазель Дрейфус решит, что я морочил ей голову или в последний момент передумал, потому что она черная. Эта мысль буквально подкосила меня, я сел на ступеньку, не выпуская из рук стаканчика с фиалками. Ведь это ужасно! Я только и мечтаю, чтобы у нас были черные детишки и чтобы мы все: они, я, мадемуазель Дрейфус и Голубчик – сплотились в крепкое семейное ядро. Готов хоть в пещере с ними жить, по обычаю предков – пожалуйста! Во мне нет ни капли расизма, вот уж за что ручаюсь. Покончить с этим недоразумением во что бы то ни стало! Наверно, мадемуазель Дрейфус сидит у себя и переживает, покинутая и униженная.

Надо действовать, и немедленно! Я обошел все кабинеты, не расставаясь со стаканом и букетом. Заглянул в каждую дверь, невзирая на смеющиеся лица. Ходил с протянутой рукой, пока вконец не потерял голову. И не только голову – меня казнили, четвертовали. Не чуя рук и ног, открывал я дверь за дверью, входил, озирался, ни с кем не здоровался – в тот момент я был способен на все. В конце концов я сунулся со своими фиалками в кабинет директора.

– Что с вами, Кузен? – спросил он.

Я стоял, задыхаясь от гонки по этажам и злости на весь мир.

– Вы хотите преподнести мне цветочки?

– Да не вам, черт побери! – Я распалился так, что в одиночку учинил бы штурм Бастилии.

– Я ищу знакомую, мадемуазель Дрейфус.

– Так фиалки для нее?

– Это мое личное дело.

Гори все огнем. Чего бояться, когда такой ужас. Конечно, я рисковал своим будущим, но на самом деле рисковать было нечем: будущее есть там, где есть двое, а где их нет, там нет и будущего. Это каждый знает с колыбели, и не заводите меня, не то, мать вашу за ногу, как одичаю да как начну изготавливать домашние бомбы из подручных материалов!

– Успокойтесь, старина.

Конечно, так всегда, этим сволочам главное – покой. Я тебе устрою покой, старый хрыч. Сам покойничком станешь, ни забот, ни хлопот, лафа да и только!

Отчаянным усилием воли я все же загнал себя в рамки и сказал:

– Простите, господии директор. Я ошибся. Я ищу одну из наших служащих, мадемуазель Дрейфус.

После чего повернулся и пошел к двери.

– Мадемуазель Дрейфус у нас больше не работает. Она уволилась.

Я застыл, вцепившись в дверную ручку. То есть кручку. Да тьфу ты, ручку!

– Когда?

– Ну, подала заявление заранее, как положено. А вы не знали?

Дверь заклинило. Или не дверь, а меня. Словом, что-то где-то заклинило, это факт. Я никак не мог повернуть ручку. Такая круглая медная штуковина. Скользкая, не ухватишь.

Крутил направо и налево – ни в какую. Заклинило внутри. Заело. От натуги я весь затянулся узлами, но открыть дверь не мог.

Директор подошел и положил руку мне на плечо.

– Ну-ну! Не расстраивайтесь. . . Успокойтесь. . . Это что же, так серьезно?

– Мы собираемся пожениться.

– И она не предупредила вас, что уходит?

– Всего не упомнишь, нам надо столько всего обсудить, что мелочи забываются.

– Но как же она не сказала вам, что уезжает на родину, в Гвиану?

– Извините, господин директор, но тут что-то заклинило, дверь не открывается.

– Позвольте, я. . . Вот. Надо было просто повернуть.

– Знаете, на мой взгляд, старые, дедовские ручки без всяких выкрутасов были куда практичней. А эта дрянь скользкая – не ухватишься.

– Понимаю. . . Никак не ухватишься. Выскальзывает из рук. Возможно, вы и правы, Кузен.

– Все это с самого начала ни к черту не годится, если хотите знать мое мнение, господин директор.

– Да-да.

– Отвратительно, из рук вон, господин директор. Чего уж там, говорю, что думаю, а думать я не разучился, уж не обессудьте.

– Разумеется, но все равно не стоит. Послушайте меня, Кузен. Ну же, возьмите мой платок.

– Такая скользкая дрянь, другого слова нет – дрянь, да и все! И чихать я хотел!

– Что-что?

– Чихать, господин директор, чихать с высокой колокольни! Я и сам знаю: если схватить покрепче да надавить. . . Но двери должны открываться свободно.

– Правильно. . . Придите в себя. Мало ли что бывает. Все уладится, вы у нас на хорошем счету. А двери бывают другие, знаете, электронные, открываются, как только протянешь ногу.

– Ну, когда протянешь ноги, никаких проблем.

– Надо подумать, может, заведем что-нибудь в этом духе.

– Впрочем, я здесь не у себя дома, прошу меня извинить. Сбой в программе.

– Что вы, Кузен, напротив, вы здесь у себя, я хочу, чтобы вы это поняли, прочувствовали, запомнили и передали другим. Мы все здесь делаем общее дело. Общее – вот что важно. Ваш коллектив – ваш дом.

– Благодарю вас, господин директор, но все-таки я не у себя, потому что я тут никто. И мои замечания насчет вашей двери и ручки совершенно неуместны. Поверьте, к вам лично они никак не относятся.

– Дорогой Кузен, вы очень взволнованы, у вас неприятности личного свойства, и я в свою очередь заверяю вас, что искренне вам сочувствую, ведь мы все – одна большая семья.

– Я знаю, господин директор, знаю, и как раз об этом пишу труд.

- Отлично, это можно только приветствовать. Кстати, я слышал, вы держите удава? ., . . .
- Да. В нем уже два метра двадцать сантиметров.
- И он будет еще расти?
- Вряд ли. Больше некуда, он уже занял все место, которым я располагаю.
- Наверно, нелегко жить бок о бок с пресмыкающимся.
- Не знаю, я его никогда не спрашивал. Пользуясь случаем, благодарю вас за доброе отношение и участие. Не премину упомянуть об этом в своем сочинении.
- Что вы, Кузен, голубчик, не стоит благодарности. Повторяю: мы все – одна семья. И я всегда рад случаю поговорить по душам с любым сотрудником. Я придаю большое значение духу товарищества. Сплоченный коллектив – это самое главное. А теперь до свидания. И не думайте больше об этом инциденте. Впрочем, не исключено, я и правда закажу автоматические двери. Пусть распахиваются сами. Жизнь достаточно сложна, надо облегчать ее где можно. Кланяйтесь домашним.

Вырвавшись от директора, я помчался в отдел кадров, узнал адрес мадемуазель Дрейфус и поехал к ней. В метро снисходительно улыбались моему стакану фиалок, чтобы они не завяли раньше времени.

Мадемуазель Дрейфус жила на улице Руа-ле-Бо, на шестом этаже без лифта. Я взбежал по лестнице на одном дыхании и не пролив ни капли воды, но в квартире никого не было. Я спросил у привратницы, не оставлено ли мне записки, но она, как и следовало ожидать, захлопнула дверь у меня перед носом. Пришлось вернуться в управление и до семи часов воевать с цифрами, что далось мне нелегко – я непреодолимо стремился к нулю. Цветы стояли на столе передо мной. И я даже проникся симпатией к ИВМ за его чистую бесчеловечность. В половине восьмого я снова звонил в дверь мадемуазель Дрейфус, снова не застал ее и прождал до одиннадцати, сидя на лестнице со своим неразлучным стаканом.

Когда и к одиннадцати она не пришла, терпение мое лопнуло, что случается со мной крайне редко, поскольку я неприхотлив и неизбалован. Это ведь только слова, что «чаша терпения переполнилась», на самом деле капли капаят и капаят, а чаша не переполняется. Так и задумано. Каждому, кто сидел на темной лестнице с букетом фиалок в стакане, знакомо это ни с чем не сравнимое чувство лютого душевного холода и голода. Не может быть, чтобы она совсем уехала. Не бывает, чтобы человек просто так взял и уехал в Гвиану, даже не попрощавшись. Десять минут двенадцатого. Никого. Последние четверть часа я высидел только потому, что привык «терпеть еще немного».

К половине двенадцатого я так затосковал по любви и ласке, что пришлось прибегнуть к помощи профессионалок. Пошел, как обычно, на улицу Помье. Хотел найти Грету, у которой такие длинные руки, но вспомнил, что она перешла на надомную работу. Оставалась высокая блондинка, по всем статьям уступавшая подругам, и я подумал, что, может, она будет поласковее со мной из благодарности. Мы пошли в ближайшую гостиницу на углу.

Девушка назвалась Нинеттой, а я, сам не знаю почему, Роланом. Терять времени она не стала:

– Присядь-ка, миленький, я тебе помою зад.

Знакомая музыка. Скрепя сердце я оседлал биде. Напрасно думают, что вещи тоже бездушны. Лично я испытываю к ним христианские чувства. Вот и теперь, сидя на биде в одних носках, я размышлял, что за скверная у него, должно быть, жизнь.

Шлюшка опустила на колени с мылом па изготровку.

Я вспомнил объяснения знакомой пожилой дамы, в прошлом хозяйки борделя: в ее время девицы подмывали клиента только спереди, но потом вкусы утончились. Поднялся уровень жизни, расстаралась реклама, наступило изобилие благ на душу – и теперь каждый ценит качество, знает, чего вправе требовать, разбирается, какой кусочек полакомее и какой курорт пошкарнее.

– Вот так, – приговаривала шлюха, орудуя мылом. – Теперь, если захочешь розочку, пожалуйста!

– Да не нужна мне розочка, – возразил я.

– А вдруг найдет охота, что ж, ломать кайф, вставать и идти мыться – куда это годится. Все удовольствие насмарку.

– Не засовывай палец, терпеть этого не могу, да еще с мылом, щиплет же, черт!

– В любви можно все, надо только хорошенько помыться. Что ты вцепился в свои фиалки – поставь сюда. Это мне?

– Нет.

Не поднимая головы, она добросовестно шпиговала меня мылом. Еще одно нелепое недоразумение, как все в этом мире.

– Ты бы, золотко, снял носки, а то некрасиво, Чем ты вообще-то занимаешься?

– Держу удава.

– Как это?

Я не ответил. Есть заветные уголки, куда не следует соваться.

– Ну вот, теперь ты чистенький. Иди ложись.

Она повесила полотенце на спинку кровати, легла рядом со мной и принялась тереть губами мои соски. Мадам Луиза говорила мне, что когда честные женщины любят не за деньги, они такого не делают, поскольку страсть исключает методичность, тогда как при платных сношениях эта услуга предусмотрена в обязательном порядке.

– Тебе так нравится?

– Приятно. Но лучше просто приголубь меня, Нинетта.

– Так тебе нужна ласка?

– А что же еще?

Она обняла меня. Мне повезло: руки у нее были довольно длинные. О, как хорошо. . .

– У меня есть один такой клиент, я должна его обнимать, укачивать и нашептывать: «Спи, малыш, мамочка рядом», а он тогда делает пипи под себя и лежит довольный.

– Тьфу ты! – дернулся я.

Лучше бы остался дома с Голубчиком.

– Что ты? Что такое?

Я встал и рявкнул:

– Дуреха! Надо же хоть капельку души!

– Чего-чего?

– По-твоему, насовала мыла в задницу – и все, что ли? – Меня так и распирало. – Мыла-то не пожалела. Жжет как я не знаю что.

– От мыла ничего плохого не бывает.

– Но и ничего хорошего тоже!

Я натянул брюки.

– Ты не хочешь?

– Знаешь, как называли бордель в прежние времена, когда Франция была настоящей доброй Францией? «Дом утех»! А тут дождешься, чтоб тебя утешили, как же! Подавись ты своим мылом! Не умеешь обслуживать клиента – не берись!

Тут проняло и ее. Она вскочила.

– Чего разорался-то?! Мыть клиенту зад – без этого нельзя, иначе подхватишь глисты, спроси любого врача. Я согласна лизать задницу, но только чистую! Мы не дикари!

Я был уже за дверью. Однако пришлось вернуться – я забыл стаканчик с фиалками. Можно было, конечно, и оставить их, пусть себе вянут, а мадемуазель Дрейфус купить другие, но я успел привязаться к этим, мы столько пережили вместе.

Я снова сбегал на улицу Руа-ле-Бо, но мадемуазель Дрейфус все не возвращалась. Хотел было оставить у двери фиалки, но не смог расстаться с ними – ведь это последнее, что нас связывало. Так и пошел домой с ними вместе. В шляпе, шарфе, плаще и при стакане шел я по Парижу. Мне стало чуточку лучше – помогла сила отчаяния. Теперь я пожалел, что ушел от проститутки – последний-распоследний раз напоминаю о высоком смысле слова, – ушел несолоно хлебавши. Меня томило избыточное нулевое самочувствие, а избавиться от него могла бы только ласка и крепкие объятия. По мере приближения к нулю чувствуешь себя не меньше, а больше. Чем меньше существуешь, тем больше маешься. Ничтожно малые величины характеризуются внутренней избыточностью. Кто обращается в ничто, тот сам себя отягощает. Чем ближе абсолютный нуль, тем дальше себя хочется послать. Ты весь – лишний вес. Так бы и стер себя, как пот, с лица земли. Словом, наступает состояние духа ввиду отмирания тела. Продажные женщины отлично помогают в подобных случаях, это факт общеизвестный, хотя и тщательно замалчиваемый из соображений этических, равно как и экономических – чтобы не набивать цену. А по-моему, пропадать ни за грош обходится себе дороже.

Я вспомнил, где можно найти Грету: на квартире у некоей дамы, где принимают до часу ночи – на случай неотложной помощи. У меня и адрес записан: XIV округ, улица Асфодель, 11, хозяйку зовут Астрид. Я отыскал указанный дом и решил скоротать время до без десяти час в ресторанчике напротив за чашкой кофе, с тем расчетом, чтобы явиться под занавес, когда клиентов уже не ждут и мой визит будет приятной неожиданностью. Ровно без двенадцати час я встал, перешел через улицу и позвонил. Открыла горничная, а встретила сама хозяйка, весьма приятная почтенная дама с радушной улыбкой.

– Здравствуйте, мадам, я к Грете.

– Грета сегодня не работает. Но у меня есть еще три милые девушки. Войдите, я вам покажу.

Я вошел в гостиную, заставленную мебелью и заваленную всякой дребеденью, и сел в мягкое кресло. Выбор в таких делах оскорбляет женскую гордость, а я не хотел никого обидеть и, едва вышла первая девушка, сказал, что она меня устраивает. Однако вмешалась хозяйка:

– Пойдите, есть еще две. Вы должны посмотреть на них тоже. У нас такое правило: чтобы у всех были равные шансы.

Вторая оказалась пикантной вьетнамкой, но я не мог бы утешаться с ней из-за ужасов вьетнамской войны. Какое удовольствие среди таких бедствий?!

– Есть еще негритянка, – сказала хозяйка, и в комнату вошла мадемуазель Дрейфус.

«Вошла в комнату» – это все, что я могу сказать за неимением слов вулканической силы, способных передать» что случилось со мной, когда мадемуазель Дрейфус вот так взяла и вдруг вошла в комнату. Я затрепетал: значит, она не уехала в Гвиану, значит, ничего не потеряно, все снова возможно, доступно и близко, никаких преград. Неисповедимы пути Господни, видно, он заглянул в сей благословенный притон.

Да, это она, мадемуазель Дрейфус, вот ее кожаная мини и сапоги выше колен. Я постарался скрыть изумление – пусть не думает, что я не верю в сказки.

Она! В самом деле она. И это не сказка, а явь. Не уехала в Гвиану, на родину певучего выговора, просто переквалифицировалась.

Я с такой нежностью прижимал к груди шляпу, что сводня – произношу и это слово с благоговением, – пронцательно разгадав психологический ребус, проступивший на моей блаженной роже каплями пота, сказала:

– Я вижу, вы сделали выбор. Пожалуйте сюда.

Под напором бурных чувств у меня подгибались ноги: певучий выговор при мне, никто не уехал в Гвиану, как хорошо все то, что хорошо кончается.

Одного я страшно боялся: как бы не вырвалось наружу удивление, не сорвался в силу слабости придушенный взглас, а то мадемуазель Дрейфус подумает, что я не ожидал найти ее в борделе. Было бы не к лицу ударить в грязь и запачкать мадемуазель Дрейфус.

– На «да» нет суда, – неуклюже пошутил я.

Но мадемуазель Дрейфус не расслышала – мы уже входили в уютную комнату без окон, зато с широкой кроватью и зеркалами на всех стенах для полноты обзора. Мадемуазель Дрейфус целомудренно закрыла дверь, подошла ко мне, обхватила за шею, прижалась бедрами и улыбнулась:

– Кто тебе сказал, что я здесь работаю?

– Никто. Просто повезло. Обломилось. А это вам... Тебе...

Переход на «ты» через Альпы прошел как по маслу.

– Возьми...

Я протянул ей фиалки. Почти вся вода высохла от долгой ходьбы и переживаний.

– Но раз ты принес цветы, значит, знал, где меня искать.

– Бывают счастливые совпадения. Мне сказали в управлении, что ты уехала в Гвиану.

Она раздевалась. Без всякого стеснения, как будто мы незнакомы.

Я же не решался расстегнуть брюки. Все не так. Неправильно. Брюки надо снимать в конце, после всего, перед уходом – тогда уже ничего. А так неправильно, ей-богу.

– ... в Гвиану, – промямлил я, стараясь для начала овладеть хоть собой.

Она присела на биде, стыдливо повернувшись ко мне спиной.

– Ну да, я так всем сказала, для простоты. Раньше я подрабатывала здесь только по вечерам, а наутро приходилось вскакивать и к девяти опять бежать в управление, так что я страшно выматывалась. Да и работа там нудная, надоела до смерти. Сюда приходила как выжатый лимон, на вечер никаких сил не оставалось. Вся эта бесконечная статистика, машины, клавиши не для человека, а для робота.

То ли дело здесь: пусть не так солидно, зато живее и разнообразнее. Общаешься с людьми, близко сходишься с каждым. Как будто мы все – большая семья, понимаешь? Приносишь радость другим и сама живешь не зря. Прости за грубость, но постель – не такая тоска, как IBM, У нас кого только не встретишь. Бывает, человек приходит совсем пришибленный, а уходит – глядишь, полегчало. И вообще, если бы любовь не продавалась за деньги, могло бы обесцениться и то, и другое. А так укрепляется курс национальной валюты. Посуди сам, если за сто пятьдесят франков ты можешь получить классную девушку, то будешь эти франки уважать. Начнешь к ним по-другому относиться. Поймешь, что деньжата – не мусор, а стоящая вещь.

Она взяла полотенце и теперь, стоя передо мной, вытиралась. Тут меня отпустило, я ощутил прилив родового начала и тоже избавился от одежды.

– Какая ты красивая, Иренэ, – сказал я и потрогал ее грудь.

Она тоже пощупала меня и игриво похвалила:

– Ого, да ты молодец!

Я почувствовал, что расту у нее на глазах.

Прирост величины заставил меня подумать о членах Ассоциации врачей и их обращении в защиту равного священного права каждого члена общества на свободное зачатие – легко твердить о равенстве величинам, с которыми не сравнится рядовым членам.

Не отнимая руки с залога моего неотъемлемого права, мадемуазель Дрейфус, как бы прощупывая почву, спросила:

- Зачем ты живешь с удавом?
- У нас с ним избирательное сродство.
- Как это?

– Очень просто. Родство душ. Душевное слияние и влияние на почве обоюдотщетного упования. «Упование» есть в любом словаре, только словарям доверять нельзя, от них сплошные недоразумения. Честно говоря, я сам не знаю, что это слово означает, но надеюсь: вдруг что-нибудь да значит. Неясность питает Надежду, таит скрытые возможности. Такова диалектика. Вот я и выискиваю в окружающей среде двусмысленные крупницы запредельного диалекта.

Мадемуазель Дрейфус все поглаживала мои скрытые возможности, и они недвусмысленно возрастали.

- Ты прямо поэт, – сказала она без ехидства.

И прибавила:

- Ладно, давай я тебя подмою.

Что ж, не капризничать же – я сел на биде как положено. Она нагнулась и плеснула воды на мой залог священного права. Потом стала перед святыней на колени и принялась намыливать мне зад. Я же тем временем мысленно поздравил себя с тем, что, заботами судьбы, похоже, являюсь счастливым обладателем самого чистого в мире зада.

– Я не стану просить вас делать эту штуку, – сказал я, переходя на «вы», чтобы повысить уровень общения.

- Так гигиеничнее – вымыть все, – возразила она.

- А многие просят?

– Да. Нынче это в моде. Все жаждут раскрепощения, женские журналы только об этом и трубят. И психоанализ велит не подавлять желания.

- Ну да, раскрепощение на службе просвещения.

- Ничего страшного, если чисто вымыто.

- Роза – символ недостижимого идеала, К которому всегда стремятся люди.

– С другой стороны, подмывание имеет для нас чисто психологическое значение, поднимает наше достоинство. Получается, что мы делаем почти то же самое, что сестры милосердия. Своего рода моральная поддержка. Хотя я в ней не нуждаюсь, мое достоинство не страдает. Для меня это занятие совершенно органично.

Мы поднялись, она подала мне полотенце, и я вытерся. Их дело подмыть, а вытирается клиент сам – таков ритуал.

Потом она вытянулась в постели со мной рядом и принялась за мои соски.

Внутри все горело. То ли не придумали еще подходящего мыла, то ли реклама отстает от жизни. Такое упущение! С полным основанием и со слезами на глазах заявляю: рекламные агентства, как ведущие, так и входящие в моду, должны развернуть кампанию по внедрению мягкого мыла специально для розочки, надо расклеить повсюду плакаты и прочее, как было сделано в свое время для детского «Беби-Кадум». Реклама определенно еще далеко не исчерпала всех возможностей, и есть области, которыми она неоправданно пренебрегает.

Втихомолку я вытирал слезы.

- Приголубь меня, – шепнул я.

Время – лучший целитель, жгло уже меньше.

Мадемуазель Дрейфус смотрела на меня озадаченно. Сначала я подумал, что ее смутили мои чешуйки, но усилием доброй воли отогнал наваждение.

- Ты плачешь, милый? Что-нибудь не так?

- Ничего. Просто мне хорошо.

- И от этого ты плачешь?

– От всего. Подыграй мне немножко.

И она подыграла с большим знанием дела. Обхватила меня руками и ногами. Приникла к моей груди, как Божья благодать. В гуще жестких волосков остались капельки воды, навевавшие мысли о заре, росе, утренней неге. Удаление Надежды прошло безболезненно, я только все еще похлюпывал носом. Теперь я как все, с намыленным задом. Распрощался с мыслями о всякой мнимости и инородности и влился в русло, доступное, каждому, как священное право на жизнь. Занял место согласно купленному билету в пункт назначения с гарантией социального обслуживания и полной занятости.

Решено: завтра же отдам Голубчика в зоопарк. Я не имею права держать его. Он – другой породы. Ничего общего.

Левой рукой мадемуазель Дрейфус ласково ободряла меня. Результат не замедлил сказаться, к обоюдному удовольствию.

– А ты парень не промах, – произнесла она, не скрывая заученного восхищения.

Помню, одна девица как-то раз пошутила: «Ну что, милоч, поиграем в лошадки?» А другая предложила «заморить моего червяка».

Такие шуточки в порядке вещей, нечего обижаться.

Плакать я перестал – все равно под рукой нет материалов для изготовления бомб на дому.

И все же сказал упрямо, напролом и вопреки:

– Обними меня покрепче, любимая.

Она послушалась, и живительными каплями потекли минуты ласки. Одни томительно-медленно, другие на диво быстро. Ее нежная шея служила гаванью моему лицу. Женственность и правда была ее призванием.

– Ты так и не сказал, почему завел удава. . .

– По аналогии. . .

– С чем?

– Или по патологии. . .

Она задумалась, но в половине второго заведение закрывалось, добираться до смысла слов было некогда, и она предпочла, изгибаясь и оглаживая мой бессловесный правоноситель, наполнить его новым смыслом.

Время истекло, мы встали и начали одеваться. Сто пятьдесят франков ровным счетом.

– Деньги – отличная штука, – бодро заметил я. – Они все упрощают. Найдись, сойтись, разойтись – все так легко.

– Деньги – штука верная и честная. Без обмана. Черным по белому. Все самым естественным образом. Поэтому их и презирают.

– Естественная среда всегда страдает ни за что – такова экология вещей.

– Это и есть аналогия, да?

Мы одевались, переговаривались не спеша, чтобы не слишком резко разрубить узел завязавшихся отношений, как будто все кончено и нечего сказать.

Наконец я решил:

– Я давно хотел тебя спросить, но мы мало знали друг друга, а теперь. . . Переезжайте жить ко мне. А удава я сдам в зоопарк.

Она посерьезнела и покачала головой:

– Нет, Вы очень добры, но мне дорога свобода.

– Со мной вы останетесь свободной. Свобода – священное право.

– Нет, – упрямо повторила она и нахмурилась, – я хочу быть независимой. И потом, я люблю свою работу. Я помогаю людям, приношу им облегчение, я на своем месте. Здесь

потруднее, чем в больнице. Сестра только сидит у постели больного, а не лежит с ним вместе. Я пошла сюда по зову сердца.

– Как это по-христиански.

– Вот уж нет, я выбрала профессию проститутки вовсе не из любви к Господу Богу. Христианская благодетель здесь ни при чем. Просто мне это нравится. Я знаю себе цену, и я ее получаю. Многие ли стоящие женщины могут этим похвастаться? По большей части они делают то же самое, но бесплатно, расходуют себя даром, обесценивают любовь. Отдаются ни за грош, как будто ни гроша не стоят. Нет, я предпочитаю иначе.

– Но вы сможете и дальше здесь работать, я не принуждаю вас бросить свое дело. Супруги должны уважать друг друга. Я за свободу в браке.

– Право, вы очень добры, и все-таки нет. Мы можем встречаться здесь, приходите когда захотите, так гораздо удобнее. Зачем усложнять жизнь.

Она открыла дверь. Фиалки остались на туалетном столике, ладно, все равно увядать, к тому все идет.

– Не говорите ничего в управлении, так будет лучше, – сказала мадемуазель Дрейфус. – Хотя я не стыжусь, тамошняя работа куда постыднее этой. Ну, пока, заходите.

Я вышел. Попрощался с хозяйкой.

– Заглядывайте еще, – сказала она.

Я направился в кафе напротив, прошел прямо в туалет и заперся в кабинке, чтобы отдышаться и разложить все по полочкам. Я хотел отсидеться в четырех стенах и убедиться, что я это я. Прошло какое-то время, прежде чем мне удалось ослабить узел и дойти до дому.

Вошел в отличном самочувствии, присвистывая.

Природа требовала свое. Я был доволен и достал из ящика Блондину. Открыл пасть, чтобы заглотнуть ее, но едва прикоснулся к ней языком, как спохватился: ведь я не признаю законов природы. Приспособление, среда и прочая ерунда вроде священного права па собачью жизнь – нет, дудки! Есть хотелось зверски, мышь была уже на языке, оставалось только проглотить, но я не поддамся так легко этим паскудным законам. И я нашел в себе силы положить мокрую, как мышь, Блондину на место. Не хочу и не буду как люди.

Сон не шел, я то и дело вскакивал и бежал в ванную промывать зад, но это не помогало.

Голос природы урчал в животе, но я дотерпел до утра и отдал Блондину хозяйке «Рамзеса» – ей давно хотелось завести что-нибудь маленькое, тепленькое, живое, с нежными ушками – не все же думают только о жратве. Вернувшись, нашел трех мышей, которых принесла мне мадам Нибельмесс, и не устоял: проглотил двух разом и, свернувшись клубком, завалился спать в углу.

Прошло несколько дней – не знаю точно, сколько, – и как-то утром я отнес Голубчика в зоопарк. Больше он мне не нужен, я отлично чувствовал себя в собственной шкуре. Он уполз с полнейшим безразличием и обвил дерево, как будто не видел разницы. Я же вернулся домой и подмыл зад. На минуту я поддался панике, мне показалось, что я не я и что я стал человеком. Смешные страхи: я им всегда и был. Просто воображение подчас играет с нами дурные шутки.

Часам к трем я ощутил прилив дружеских чувств и пошел в «Рамзес» проведать Блондину, но коробка стояла пустая. Одно из двух: или хозяйка ее пересадила, или уже слопала.

Пришел назад ни с чем. Меня трясло, мучил мысленный зуд во всем теле. Тогда я сел и насочинил кратких объявлений, факсов и телеграмм с оплаченным ответом, но отправлять не стал: мне ли не знать, как одинок удав в Большом Париже и как предвзято к нему относятся. Каждые десять минут я бегал в ванную и драил зад до блеска – не помогло и это.

В пять часов я понял, что дело плохо и надо найти другое решение, верное и без собственных заблуждений, не идущее, однако, вразрез с моим непоколебимым антифашизмом. Тоска по чему-то отличному, подручному и безупречному была так сильна, что я сломя голову бросился на улицу Тривиа к часовщику с намерением завести ручные часы. Выбрал особь со светлым, приветливым циферблатом и парой тонких чутких стрелок. Часовщик рекомендовал мне другой, «более совершенный» экземпляр.

– Эти не нуждаются в заводе. Они кварцевые и будут идти сами целый год.

– Но мне, наоборот, нужны такие, которые во мне нуждаются и останавливаются, если я о них забываю. С личным контактом.

Как все люди, привыкшие жить по-человечески, он меня не понимал.

– Часы, которые без меня не обойдутся. Вот эти. . .

Я сжал часы в ладони. И почему-то вспомнил о фиалках. Такой уж я привязчивый.

Часы в ладони пригрелись. Я разжал пальцы – циферблат улыбался. Значит, у меня талант внушать дружескую улыбку часам.

– Это «Гордон», – значительно сказал часовщик.

– Сколько они стоят?

– Сто пятьдесят франков.

Столько же, сколько мадемуазель Дрейфус, – явный знак свыше.

– Но у этой модели нет гарантии, – сокрушенно сказал часовщик, выдавая тайную тревогу.

Дома, наскоро подмыв зад, я скользнул в постель, сжимая в руке свои часики. Если запастись терпением и хлебными крошками, можно приманить на ладонь и так же ухватить воробушка. Но всю жизнь на воробьях и крошках не продержишься, к тому же воробьи рано или поздно улетают в силу неумолимой невозможности. В самой середине круглой часовой рожицы красовался носик-точка, стрелки раздвигались в улыбке, правда, это зависело от времени (понятно, нельзя же улыбаться все время). Когда я был маленьким и жил в приюте, то зазывал к себе по ночам большого доброго пса, которого сотворил силой воображения вкупе с потребностью в ласке и наградил черной мордой, длинными, трогательными (для рук) ушами и человечески-нечуждым взглядом. Он приходил ко мне в дортуар каждый вечер и облизывал лицо, но потом я вырос, и тут уж он ничего не мог поделать.

Так, с часами в руке, я пролежал всю ночь. Наконец я обрел что-то человеческое и в то же время неподвластное законам природы – тикать они на них хотели! Только иногда приходилось вставать, чтобы подмыть в ванной зад. Утром я проглотил последнюю мышь – чтобы настроиться и лучше приспособиться к среде. Через пару деньков нарочно забуду завести Франсину, пусть почувствует, как я ей необходим. Я окрестил свои часы Франсиной

в честь некой одноименной личности.

Ходить на работу я не мог – боялся выдать себя в силу нехватки мнимости. Хотел объявить голодовку, но на мадемуазель Дрейфус свет клином не сошелся. Два дня кое-как продержался без пищи, но законы природы взяли верх, и когда на третий мадам Нибельмесс принесла мне корм, я поднялся во всю длину и взял у нее из рук коробку с шестью мышами. Одну тут же проглотил из учтивости и дабы продемонстрировать почтенной женщине, что я нормальный человек. Во избежание ненужных разговоров.

– О, месье Кузен! – воскликнула мадам Нибельмесс.

Я промолчал. Хочет, пусть называет меня Кузеном. Только засмеялся, взял за хвост вторую мышь и миролюбиво проглотил ее тоже. В мегаполисе с десятиmillionным населением надо поступать как все. Соблюдать видимость с ног до головы.

Мадам Нибельмесс, видно, убедилась окончательно, поскольку выбежала вон и больше не являлась.

На другой день я возобновил обычную жизнедеятельность – пошел в управление и до вечера просидел за IBM. Никто не заметил моего отсутствия. Только билетик метро понял мое состояние и при выходе остался у меня в руке, не покинул в трудную минуту.

Ночью в постели я болезненно ощущаю нехватку рук – рук мадемуазель Дрейфус; но так, я читал, бывает: боли в несуществующих конечностях после ампутации мучают всех увечных. Зато я стал улавливать ободряющее бульканье в радиаторе – какая-никакая поддержка извне. На пятый день нового этапа подпольной борьбы за освобождение меня одолела философия. Все делятся на одних и других, думал я. Причем другие тоже одни, только сами не понимают. Запутанный и никому не нужный узел, а мне так и подавно, у меня своих узлов хватает.

Приходится пускаться на хитрости, чтобы соседи на меня не донесли. Например, ставить на полную громкость пластинку Моцарта с тонким расчетом – пусть думают: раз слушает Моцарта, значит, человек. При немцах было куда проще: получил поддельный паспорт и живи себе спокойно.

С Жаном Муленом и Пьером Броссолетом я поговорил откровенно и объяснил, что больше не могу их укрывать. Сказал, что теперь нужны предельная бдительность и изворотливость. Они все поняли. Одного убедил калюирский опыт, другого – шесть этажей без лифта. Итак, я снял оба портрета со стены и сжег – пусть будут в полной безопасности и сохранности, в самой глубине души. Внутреннее подполье – самое надежное. Я пообещал каждый день делиться с ними лучшей пищей и не полениться купить побольше батареек для электрических фонариков – нельзя же все время оставаться в темноте, должен быть луч света.

К мадемуазель Дрейфус в бордель я не заходил, мне нечего предложить молодой независимой женщине. Признаюсь, однако, что продолжаю регулярно мыть зад на биде – без мечты не проживешь. А вообще-то, если я и думаю о мадемуазель Дрейфус, то только для того, чтобы удостовериться, что о ней не думаю, то есть для душевного равновесия.

Живу в мире и согласии со своими ручными часами. Хоть они и без гарантии, но исправно, как обещал часовщик, останавливаются всякий раз, когда я их покидаю. Я по-прежнему убежден, что полноценная единица складывается только из двоих, хотя допускаю возможность свойственного заблуждения. Свыше часто слышатся шаги профессора Цуреса, который носится с правами человека и кровопролитиями. Я все жду, не снизойдет ли он ко мне, но, плотно окопавшись на своем высоком посту, он бодрствует в одиночку, одержимый неусыпной деятельностью.

В управлении тоже все нормально. Я бдительно сохраняю человеческий облик, так что на меня не обращают внимания. Уборщик достукался: его засекли и уволили. Я по нему ни сколько не скучаю, хотя думаю о нем с удовольствием, радуюсь, что больше не нападу на

него в коридоре. Случается, правда, – да и с кем не бывает! – накатят подспудные поползновения, но я употребляю патентованные средства заглушения. В настоящее время любой органический недостаток легко восполнить с помощью полноценных, общественно полезных, искусственных членов. Из разговоров коллег я знаю, что в социуме наблюдаются кричащие болевые точки, но их крик подавляется статистической массой. Иногда я поднимаюсь среди ночи и развиваю гибкость на будущее. Катаюсь по полу, скручиваюсь в узел, извиваюсь и пресмыкаюсь – вырабатываю полезные навыки. Получается удачно» просто до ужаса, как на самом деле. А говорю я это для пресечения досужих домыслов.

Бывают маленькие нечаянные радости. То развинтится от уличной вибрации и примется подмигивать лампочка. То кто-то по ошибке позвонит ко мне в дверь. То забулькает и согреет душу радиатор. То зазвонит телефон и зашебечет нежным женским голосом: «Жанно, миленький, это ты?» – и я целую минуту могу молча улыбаться и чувствовать себя миленьким Жанно.»

Париж – огромный город, где ни в чем нет недостатка.

1974